## Над пропастью во ржи

Автор: *Сэлинджер Д.*

Над пропастью во ржи

Джером Дейвид Сэлинджер

Джером Д. Сэлинджер

Над пропастью во ржи

1

Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, –словом, всю эту давид-копперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему – Д.Б. – только про это и рассказывал, а ведь он мне как-никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам отвезет – может быть, даже в будущем месяце. Купил себе недавно «ягуар». Английская штучка, может делать двести миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тысячи. Денег у него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слыхали – это он написал мировую книжку рассказов «Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и назывался – «Спрятанная рыбка», там про одного мальчишку, который никому не позволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума сойти, какой рассказ! А теперь мой брат в Голливуде, совсем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не могу.

Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушел из Пэнси. Пэнси –это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверно, вы про нее слыхали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в тысяче журналов – этакий хлюст, верхом на лошади, скачет через препятствия. Как будто в Пэнси только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в глаза не видал. И под этим конным хлюстом подпись: «С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей». Вот уж липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благородного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там один-два – и обчелся. Да и то они такими были еще до школы.

Словом, началось это в субботу, когда шел футбольный матч с Сэксонн-холлом. Считалось, что для Пэнси этот матч важней всего на свете. Матч был финальный, и, если бы наша школа проиграла, нам всем полагалось чуть ли не перевешаться с горя. Помню, в тот день, часов около трех, я стоял черт знает где, на самой горе Томпсона, около дурацкой пушки, которая там торчит, кажется, с самой войны за независимость. Оттуда видно было все поле и как обе команды гоняют друг дружку из конца в конец. Трибун я как следует разглядеть не мог, только слышал, как там орут. На нашей стороне орали во всю глотку –собралась вся школа, кроме меня, – а на их стороне что-то вякали: у приезжей команды народу всегда маловато.

На футбольных матчах всегда мало девчонок. Только старшеклассникам разрешают их приводить. Гнусная школа, ничего не скажешь. А я люблю бывать там, где вертятся девчонки, даже если они просто сидят, ни черта не делают, только почесываются, носы вытирают или хихикают. Дочка нашего директора, старика Термера, часто ходит на матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить. Хотя в общем она ничего. Как-то я с ней сидел рядом в автобусе, ехали из Эгерстауна и разговорились. Мне она понравилась. Правда, нос у нее длинный, и ногти обкусаны до крови, и в лифчик что-то подложено, чтоб торчало во все стороны, но ее почему-то было жалко. Понравилось мне то, что она тебе не вкручивала, какой у нее замечательный папаша. Наверно, сама знала, что он трепло несусветное.

Не пошел я на поле и забрался на гору, так как только что вернулся из Нью-Йорка с командой фехтовальщиков. Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка. Поехали мы в Нью-Йорк на состязание со школой Мак-Берни. Только состязание не состоялось. Я забыл рапиры, и костюмы, и вообще всю эту петрушку в вагоне метро. Но я не совсем виноват. Приходилось все время вскакивать, смотреть на схему, где нам выходить. Словом, вернулись мы в Пэнси не к обеду, а уже в половине третьего. Ребята меня бойкотировали всю дорогу. Даже смешно.

И еще я не пошел на футбол оттого, что собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой, Он знал, что я не вернусь.

Да, забыл сказать –меня вытурили из школы. После рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по четырем предметам и вообще не занимался и все такое. Меня сто раз предупреждали – старайся, учись. А моих родителей среди четверти вызывали к старому Термеру, но я все равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из Пэнси. У них очень высокая академическая успеваемость, серьезно, очень высокая.

Словом, дело было в декабре, и холодно, как у ведьмы за пазухой, особенно на этой треклятой горке. На мне была только куртка –ни перчаток, ни черта. На прошлой неделе кто-то спер мое верблюжье пальто прямо из комнаты, вместе с теплыми перчатками – они там и были, в кармане. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но все равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше ворюг. Словом, стоял я у этой дурацкой пушки, чуть зад не отморозил. Но на матч я почти и не смотрел. А стоял я там потому, что хотелось почувствовать, что я с этой школой прощаюсь. Вообще я часто откуда-нибудь уезжаю, но никогда и не думаю ни про какое прощание. Я это ненавижу. Я не задумываюсь, грустно ли мне уезжать, неприятно ли. Но когда я расстаюсь с каким-нибудь местом, мне надо п о ч у в с т в о в а т ь, что я с ним действительно расстаюсь. А то становится еще неприятней.

Мне повезло. Вдруг я вспомнил про одну штуку и сразу почувствовал, что я отсюда уезжаю навсегда. Я вдруг вспомнил, как мы однажды, в октябре, втроем –я, Роберт Тичнер и Пол Кембл – гоняли мяч перед учебным корпусом. Они славные ребята, особенно Тичнер. Время шло к обеду, совсем стемнело, но мы все гоняли мяч и гоняли. Стало уже совсем темно, мы и мяч-то почти не видели, но ужасно не хотелось бросать. И все-таки пришлось. Наш учитель биологии, мистер Зембизи, высунул голову из окна учебного корпуса и велел идти в общежитие, одеваться к обеду. Как вспомнишь такую штуку, так сразу почувствуешь: тебе ничего не стоит уехать отсюда навсегда, – у меня по крайней мере почти всегда так бывает. И только я понял, что уезжаю навсегда, я повернулся и побежал вниз с горы, прямо к дому старика Спенсера. Он жил не при школе. Он жил на улице Энтони Уэйна.

Я бежал всю дорогу, до главного выхода, а потом переждал, пока не отдышался. У меня дыхание короткое, по правде говоря. Во-первых, я курю, как паровоз, то есть раньше курил. Тут, в санатории, заставили бросить. И еще –я за прошлый год вырос на шесть с половиной дюймов. Наверно, от этого я и заболел туберкулезом и попал сюда на проверку и на это дурацкое лечение. А в общем я довольно здоровый.

Словом, как только я отдышался, я побежал через дорогу на улицу Уэйна. Дорога вся обледенела до черта, и я чуть не грохнулся. Не знаю, зачем я бежал, наверно, просто так. Когда я перебежал через дорогу, мне вдруг показалось, что я исчез. День был какой-то сумасшедший, жуткий холод, ни проблеска солнца, ничего, и казалось, стоит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек.

Ух, и звонил же я в звонок, когда добежал до старика Спенсера! Промерз я насквозь. Уши болели, пальцем пошевельнуть не мог. «Ну, скорей, скорей!» –говорю чуть ли не вслух. – Открывайте!» Наконец старушка Спенсер мне открыла. У них прислуги нет и вообще никого нет, они всегда сами открывают двери. Денег у них в обрез.

–Холден! – сказала миссис Спенсер. – Как я рада тебя видеть! Входи, милый! Ты, наверно, закоченел до смерти?

Мне кажется, она и вправду была рада меня видеть. Она меня любила. По крайней мере, мне так казалось.

Я пулей влетел к ним в дом.

–Как вы поживаете, миссис Спенсер? – говорю. – Как здоровье мистера Спенсера?

–Дай твою куртку, милый! – говорит она. Она и не слышала, что я спросил про мистера Спенсера. Она была немножко глуховата.

Она повесила мою куртку в шкаф в прихожей, и я пригладил волосы ладонью. Вообще я ношу короткий ежик, мне причесываться почти не приходится.

–Как же вы живете, миссис Спенсер? – спрашиваю, но на этот раз громче, чтобы она услыхала.

–Прекрасно, Холден. – Она закрыла шкаф в прихожей. – А ты-то как живешь?

И я по ее голосу сразу понял: видно, старик Спенсер рассказал ей, что меня выперли.

–Отлично, – говорю. – А как мистер Спенсер? Кончился у него грипп?

–Кончился? Холден, он себя ведет как… как не знаю кто!.. Он у себя, милый, иди прямо к нему.

2

У них у каждого была своя комната. Лет им было под семьдесят, а то и больше. И все-таки они получали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли в могиле. Знаю, свинство так говорить, но я вовсе не о том. Просто я хочу сказать, что я много думал про старика Спенсера, а если про него слишком много думать, начинаешь удивляться –за каким чертом он еще живет. Понимаете, он весь сгорбленный и еле ходит, а если он в классе уронит мел, так кому-нибудь с первой парты приходится нагибаться и подавать ему. По-моему, это ужасно. Но если не слишком разбираться, а просто так подумать, то выходит, что он вовсе не плохо живет. Например, один раз, в воскресенье, когда он меня и еще нескольких других ребят угощал горячим шоколадом, он нам показал потрепанное индейское одеяло – они с миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллоустонском парке. Видно было, что старик Спенсер от этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет себе такой человек вроде старого Спенсера, из него уже песок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то одеяла.

Дверь к нему была открыта, но я все же постучался, просто из вежливости. Я видел его –он сидел в большом кожаном кресле, закутанный в то самое одеяло, про которое я говорил. Он обернулся, когда я постучал.

–Кто там? – заорал он. – Ты, Колфилд? Входи, мальчик, входи!

Он всегда орал дома, не то что в классе. На нервы действовало, серьезно.

Только я вошел –и уже пожалел, зачем меня принесло. Он читал «Атлантик мансли», и везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка. Тоску нагоняло. Я вообще-то не слишком люблю больных. И все казалось еще унылее оттого, что на старом Спенсере был ужасно жалкий, потертый, старый халат – наверно, он его носил с самого рождения, честное слово. Не люблю я стариков в пижамах или в халатах. Вечно у них грудь наружу, все их старые ребра видны. И ноги жуткие. Видали стариков на пляжах, какие у них ноги белые, безволосые?

–Здравствуйте, сэр! – говорю. – Я получил вашу записку. Спасибо вам большое. – Он мне написал записку, чтобы я к нему зашел проститься перед каникулами; знал, что я больше не вернусь. – Вы напрасно писали, я бы все равно зашел попрощаться.

–Садись вон туда, мальчик, – сказал старый Спенсер. Он показал на кровать.

Я сел на кровать.

–Как ваш грипп, сэр?

–Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором! – Старик сам себя рассмешил. Он стал хихикать, как сумасшедший. Наконец отдышался и спросил: – А почему ты не на матче? Кажется, сегодня финал?

–Да. Но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой.

Господи, ну и постель! Настоящий камень!

Он вдруг напустил на себя страшную строгость –я знал, что так будет.

–Значит, ты уходишь от нас? – спрашивает.

–Да, сэр, похоже на то.

Тут он начал качать головой. В жизни не видел, чтобы человек столько времени подряд мог качать головой. Не поймешь, оттого ли он качает головой, что задумался, или просто потому, что он уже совсем старикашка и ни хрена не понимает.

–А о чем с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? Я слыхал, что у вас был долгий разговор.

–Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше.

–Что же он тебе сказал?

–Ну… всякое. Что жизнь – это честная игра. И что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного он не сказал. Все насчет того же, что жизнь – это игра и всякое такое. Да вы сами знаете.

–Но жизнь д е й с т в и т е л ь н о игра, мой мальчик, и играть надо по правилам.

–Да, сэр. Знаю. Я все это знаю.

Тоже сравнили! Хороша игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, –тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на д р у г у ю сторону, где одни мазилы, – какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет.

–А доктор Термер уже написал твоим родителям? – спросил старик Спенсер.

–Нет, он собирается написать им в понедельник.

–А ты сам им ничего не сообщил?

–Нет, сэр, я им ничего не сообщил, увижу их в среду вечером, когда приеду домой.

–Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию?

–Как сказать… Рассердятся, наверно, – говорю. – Должно быть, рассердятся. Ведь я уже в четвертой школе учусь.

И я тряхнул головой. Это у меня привычка такая.

–Эх! – говорю. Это тоже привычка – говорить «Эх!» или «Ух ты!», отчасти потому, что у меня не хватает слов, а отчасти потому, что я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не больше. Ужасно нелепо выходит, особенно потому, что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, да и волосы у меня с проседью. Это правда. У меня на одной стороне, справа, миллион седых волос. С самого детства. И все-таки иногда я держусь, будто мне лет двенадцать. Так про меня все говорят, особенно отец. Отчасти это верно, но не совсем. А люди всегда думают, что они тебя видят насквозь. Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают – веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают.

Старый Спенсер опять начал качать головой. И при этом ковырял в носу. Он старался делать вид, будто потирает нос, но на самом деле он весь палец туда запустил. Наверно, он думал, что это можно, потому что, кроме меня, никого тут не было. Мне-то все равно, хоть и противно видеть, как ковыряют в носу.

Потом он заговорил:

–Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад. Они изумительные люди.

–Да, конечно. Они хорошие.

«Изумительные». Ненавижу это слово! Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова.

И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалось, ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он все равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертям из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнется жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтобы тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате –это уж слишком. Не хотелось слушать.

Тут и началось.

–Что ты с собой делаешь, мальчик? – сказал старый Спенсер. Он заговорил очень строго, так он раньше не разговаривал. – Сколько предметов ты сдавал в этой четверти?

–Пять, сэр.

–Пять. А сколько завалил?

–Четыре. – Я поерзал на кровати. На такой жесткой кровати я еще никогда в жизни не сидел. Английский я хорошо сдал, потому что я учил Беовульфа и «Лорд Рэндал, мой сын» и всю эту штуку еще в Хуттонской школе. Английским мне приходилось заниматься, только когда задавали сочинения.

Он меня даже не слушал. Он никогда не слушал, что ему говорили.

–Я провалил тебя по истории, потому что ты совершенно ничего не учил.

–Понимаю, сэр. Отлично понимаю. Что вам было делать?

–Совершенно ничего не учил! – повторял он. Меня злит, когда люди повторяют то, с чем ты с р а з у согласился. А он и в третий раз повторил: – Совершенно ничего не учил! Сомневаюсь, открывал ли ты учебник хоть раз за всю четверть. Открывал? Только говори правду, мальчик!

–Нет, я, конечно, просматривал его раза два, – говорю. Не хотелось его обижать. Он был помешан на своей истории.

–Ах, просматривал? – сказал он очень ядовито. – Твоя, с позволения сказать, экзаменационная работа вон там, на полке. Сверху, на тетрадях. Дай ее сюда, пожалуйста!

Это было ужасное свинство с его стороны, но я взял свою тетрадку и подал ему –больше ничего делать не оставалось. Потом я опять сел на эту бетонную кровать. Вы себе и представить не можете, как я жалел, что зашел к нему проститься!

Он держал мою тетрадь, как навозную лепешку или еще что похуже.

–Мы проходили Египет с четвертого ноября по второе декабря, – сказал он. – Ты сам выбрал эту тему для экзаменационной работы. Не угодно ли тебе послушать, что ты написал?

–Да нет, сэр, не стоит, – говорю.

А он все равно стал читать. Уж если преподаватель решил что-нибудь сделать, его не остановишь. Все равно сделает по-своему.

–«Египтяне были древней расой кавказского происхождения, обитавшей в одной из северных областей Африки. Она, как известно, является самым большим материком в восточном полушарии».

И я должен был сидеть и слушать эту несусветную чушь. Свинство, честное слово.

–«В наше время мы интересуемся египтянами по многим причинам. Современная наука все еще добивается ответа на вопрос – какие тайные составы употребляли египтяне, бальзамируя своих покойников, чтобы их лица не сгнивали в течение многих веков. Эта таинственная загадка все еще бросает вызов современной науке двадцатого века».

Он замолчал и положил мою тетрадку. Я почти что ненавидел его в эту минуту.

–Твой, так сказать, экскурс в науку на этом кончается, – проговорил он тем же ядовитым голосом. Никогда бы не подумал, что в таком древнем старикашке столько яду. – Но ты еще сделал внизу небольшую приписку лично мне, – добавил он.

–Да-да, помню, помню! – сказал я. Я заторопился, чтобы он хоть это не читал вслух. Куда там – разве его остановишь! Из него прямо искры сыпались!

«Дорогой мистер Спенсер! –Он читал ужасно громко. – Вот все, что я знаю про египтян. Меня они почему-то не очень интересуют, хотя Вы читаете про них очень хорошо. Ничего, если Вы меня провалите, – я все равно уже провалился по другим предметам, кроме английского. Уважающий вас Х о л д е н К о л ф и л д».

Тут он положил мою треклятую тетрадку и посмотрел на меня так, будто сделал мне сухую в пинг-понг. Никогда не прощу ему, что он прочитал эту чушь вслух. Если б он написал такое, я бы ни за что не прочел, слово даю. А главное, добавил-то я эту проклятую приписку, чтобы ему не было неловко меня проваливать.

–Ты сердишься, что я тебя провалил, мой мальчик? – спросил он.

–Что вы, сэр, ничуть! – говорю. Хоть бы он перестал называть меня «мой мальчик», черт подери!

Он бросил мою тетрадку на кровать. Но, конечно, опять не попал. Пришлось мне вставать и подымать ее. Я ее положил на «Атлантик мансли». Вот еще, охота была поминутно нагибаться.

–А что бы ты сделал на моем месте? – спросил он. – Только говори правду, мой мальчик.

Да, видно, ему было здорово не по себе оттого, что он меня провалил. Тут, конечно, я принялся наворачивать. Говорил, что я умственно отсталый, вообще кретин, что я сам на его месте поступил бы точно так же и что многие не понимают, до чего трудно быть преподавателем. И все в таком роде. Словом, наворачивал как надо.

Но самое смешное, что думал-то я все время о другом. Сам наворачиваю, а сам думаю про другое. Живу я в Нью-Йорке, и думал я про тот пруд, в Центральном парке, у Южного выхода: замерзает он или нет, а если замерзает, куда деваются утки? Я не мог себе представить, куда деваются утки, когда пруд покрывается льдом и промерзает насквозь. Может быть, подъезжает грузовик и увозит их куда-нибудь в зоопарк? А может, они просто улетают?

Все-таки у меня это хорошо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попало старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток. Занятно выходит. Но когда разговариваешь с преподавателем, думать вообще не надо. И вдруг он меня перебил. Он всегда перебивает.

–Скажи, а что ты по этому поводу думаешь, мой мальчик? Интересно было бы знать. Весьма интересно.

–Это насчет того, что меня вытурили из Пэнси? – спрашиваю. Хоть бы он запахнул свой дурацкий халат. Смотреть неприятно.

–Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в Хуттонской школе, и в Элктон-хилле?

Он это сказал не только ядовито, но и как-то противно.

–Никаких затруднений в Элктон-хилле у меня не было, – говорю. – Я не проваливался, ничего такого. Просто ушел – и все.

–Разреши спросить – почему?

–Почему? Да это длинная история, сэр. Все это вообще довольно сложно.

Ужасно не хотелось рассказывать ему –что да как. Все равно он бы ничего не понял. Не по его это части. А ушел я из Элктон-хилла главным образом потому, что там была одна сплошная липа. Все делалось напоказ – не продохнешь. Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. В десять раз хуже старика Термера. По воскресеньям, например, этот чертов Хаас ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив – просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался – у некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нем старомодные, черные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два пальца и притворно улыбался, а потом как начнет разговаривать с другими родителями – полчаса разливается! Не выношу я этого. Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот проклятый Элктон-хилл.

Старый Спенсер меня спросил о чем-то, но я не расслышал. Я все думал об этом подлом Хаасе.

–Что вы сказали, сэр? – говорю.

–Но ты хоть о г о р ч е н, что тебе приходится покидать Пэнси?

–Да, конечно, немножко огорчен. Конечно… но все-таки не очень. Наверно, до меня еще не дошло. Мне на это нужно время. Пока я больше думаю, как поеду домой в среду. Видно, я все-таки кретин!

–Неужели ты совершенно не думаешь о своем будущем, мой мальчик?

–Нет, как не думать – думаю, конечно. – Я остановился. – Только не очень часто. Не часто.

–Призадумаешься! – сказал старый Спенсер. – Потом призадумаешься, когда будет поздно!

Мне стало неприятно. Зачем он так говорил –будто я уже умер? Ужасно неприятно.

–Непременно подумаю, – говорю, – я подумаю.

–Как бы мне объяснить тебе, мальчик, вдолбить тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, понимаешь?

Видно было, что он действительно хотел мне помочь. По-настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны –вот и все.

–Знаю, сэр, – говорю, – и спасибо вам большое. Честное слово, я очень это ценю, правда!

Тут я встал с кровати. Ей-богу, я не мог бы просидеть на ней еще десять минут даже под страхом смертной казни.

–К сожалению, мне пора! Надо забрать вещи из гимнастического зала, у меня там масса вещей, а они мне понадобятся, Ей-богу, мне пора!

Он только посмотрел на меня и опять стал качать головой, и лицо у него стало такое серьезное, грустное. Мне вдруг стало жалко его до чертиков. Но не мог же я торчать у него весь век, да и тянули мы в разные стороны. И вечно он бросал что-нибудь на кровать и промахивался, и этот его жалкий халат, вся грудь видна, а тут еще пахнет гриппозными лекарствами на весь дом.

–Знаете что, сэр, – говорю, – вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово. Все наладится. Это у меня переходный возраст, сами знаете. У всех это бывает.

–Не знаю, мой мальчик, не знаю…

Ненавижу, когда так бормочут.

–Бывает, – говорю, – это со всеми бывает! Правда, сэр, не стоит вам из-за меня огорчаться. – Я даже руку ему положил на плечо. – Не стоит! – говорю.

–Не выпьешь ли чашку горячего шоколада на дорогу? Миссис Спенсер с удовольствием…

–Я бы выпил, сэр, честное слово, но надо бежать. Надо скорее попасть в гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр. Огромное спасибо.

И тут мы стали жать друг другу руки. Все это чушь, конечно, но мне почему-то сделалось ужасно грустно.

–Я вам черкну, сэр. Берегитесь после гриппа, ладно?

–Прощай, мой мальчик.

А когда я уже закрыл дверь и вышел в столовую, он что-то заорал мне вслед, но я не расслышал. Кажется, он орал «Счастливого пути!». А может быть, и нет. Надеюсь, что нет. Никогда я не стал бы орать вслед «Счастливого пути!». Гнусная привычка, если вдуматься.

3

Я ужасный лгун –такого вы никогда в жизни не видали. Страшное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг спросят куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело! И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гимнастический зал забирать вещи, тоже было вранье. Я и не держу ничего в этом треклятом зале.

Пока я учился в Пэнси, я жил в новом общежитии, в корпусе имени Оссенбергера. Там жили только старшие и младшие. Я был из младших, мой сосед –из старших. Корпус был назван в честь Оссенбергера, был тут один такой, учился раньше в Пэнси. А когда закончил, заработал кучу денег на похоронных бюро. Он их понастроил по всему штату – знаете, такие похоронные бюро, через которые можно хоронить своих родственников по дешевке – пять долларов с носа. Вы бы посмотрели на этого самого Оссенбергера. Ручаюсь, что он просто запихивает покойников в мешок и бросает в речку. Так вот этот тип пожертвовал на Пэнси кучу денег и наш корпус назвали в его честь. На первый матч в году он приехал в своем роскошном «кадиллаке», а мы должны были вскочить на трибуны и трубить вовсю, то есть кричать ему «Ура!». А на следующее утро в капелле он отгрохал речь часов на десять. Сначала рассказал пятьдесят анекдотов вот с такой бородищей, хотел показать, какой он молодчага. Сила. А потом стал рассказывать, как он в случае каких-нибудь затруднений или еще чего никогда не стесняется – станет на колени и помолится богу. И нам тоже советовал всегда молиться богу – беседовать с ним в любое время. «Вы, – говорит, – обращайтесь ко Христу просто как к приятелю. Я сам все время разговариваю с Христом по душам. Даже когда веду машину». Я чуть не сдох. Воображаю, как этот сукин сын переводит машину на первую скорость, а сам просит Христа послать ему побольше покойничков. Но тут во время его речи случилось самое замечательное. Он как раз дошел до середины, рассказывал про себя, какой он замечательный парень, какой ловкач, и вдруг Эдди Марсалла – он сидел как раз передо мной – пукнул на всю капеллу. Конечно, это ужасно, очень невежливо, в церкви, при всех, но очень уж смешно вышло. Молодец Марсалла! Чуть крышу не сорвал. Никто вслух не рассмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что ничего не слышал, но старик Термер, наш директор, сидел рядом с ним на кафедре, и сразу было видно, что он-то хорошо слыхал. Ух, и разозлился он! Ничего нам не сказал, но вечером собрал всех на дополнительные занятия и произнес речь. Он сказал, что ученик, который так нарушил порядок во время службы, недостоин находиться в стенах школы. Мы пробовали заставить нашего Марсаллу дать еще один залп во время речи старика Термера, но он был не в настроении. Так вот, я жил в корпусе имени этого Оссенбергера, в новом общежитии.

Приятно было от старика Спенсера попасть к себе в комнату, тем более что все были на футболе, а батареи в виде исключения хорошо грелись. Даже стало как-то уютно. Я снял куртку, галстук, расстегнул воротник рубашки, а потом надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была охотничья шапка с очень-очень длинным козырьком. Я ее увидел в окне спортивного магазина, когда мы вышли из метро, где я потерял эти чертовы рапиры. Заплатил всего доллар. Я ее надевал задом наперед –глупо, конечно, но мне так нравилось. Потом я взял книгу, которую читал, и сел в кресло. В комнате было два кресла. Одно – мое, другое – моего соседа, Уорда Стрэдлейтера. Ручки у кресел были совсем поломаны, потому что вечно на них кто-нибудь садился, но сами кресла были довольно удобные.

Читал я ту книжку, которую мне дали в библиотеке по ошибке. Я только дома заметил, что мне дали не ту книгу. Они мне дали «В дебрях Африки» Исака Дайнсена. Я думал, дрянь, а оказалось интересно. Хорошая книга. Вообще я очень необразованный, но читаю много. Мой любимый писатель –Д.Б., мой брат, а на втором месте – Ринг Ларднер. В день рождения брат мне подарил книжку Ринга Ларднера – это было еще перед поступлением в Пэнси. В книжке были пьесы – ужасно смешные, а потом рассказ про полисмена-регулировщика, он влюбляется в одну очень хорошенькую девушку, которая вечно нарушает правила движения. Но полисмен женат и, конечно, не может жениться на девушке. А потом девушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила. Потрясающий рассказ. Вообще я больше всего люблю книжки, в которых есть хоть что-нибудь смешное. Конечно, я читаю всякие классические книги вроде «Возвращения на родину"\*, и всякие книги про войну, и детективы, но как-то они меня не очень увлекают. А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца – так сразу подумаешь: хорошо бы, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает. Я бы с удовольствием позвонил этому Дайнсену, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, только Д.Б. сказал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, как „Бремя страстей человеческих“ Сомерсета Моэма, – совсем не то. Я ее прочел прошлым летом. Книжка, в общем, ничего, но у меня нет никакого желания звонить этому Сомерсету Моэму по телефону. Сам не знаю почему. Просто не тот он человек, с которым хочется поговорить. Я бы скорее позвонил покойному Томасу Харди. Мне нравится его Юстасия Вэй.

Значит, надел я свою новую шапку, уселся в кресло и стал читать «В дебрях Африки». Один раз я ее уже прочел, но мне хотелось перечитать некоторые места. Я успел прочитать всего страницы три, как вдруг кто-то вышел из душевой. Я и не глядя понял, что это Роберт Экли –он жил в соседней комнате. В нашем крыле на каждые две комнаты была общая душевая, и этот Экли врывался ко мне раз восемьдесят на дню. Кроме того, он один из всего общежития не пошел на футбол. Он вообще никуда не ходил. Странный был тип. Он был старшеклассник и проучился в Пэнси уже четыре года, но все его называли только по фамилии – Экли. Даже его сосед по комнате, Херб Гейл, никогда не называл его «Боб» или хотя бы «Эк». Наверно, и жена будет называть его «Экли» – если только он когда-нибудь женится. Он был ужасно высокий – шесть футов четыре дюйма, страшно сутулый, и зубы гнилые. Ни разу, пока мы жили рядом, я не видал, чтобы он чистил зубы. Они были какие-то грязные, заплесневелые, а когда он в столовой набивал рот картошкой или горохом, меня чуть не тошнило. И потом – прыщи. Не только на лбу или там на подбородке, как у всех мальчишек, – у него все лицо было прыщавое. Да и вообще он был противный. И какой-то подлый. По правде говоря, я не очень-то его любил.

Я чувствовал, что он стоит на пороге душевой, прямо за моим креслом, и смотрит, здесь ли Стрэдлейтер. Он ненавидел Стрэдлейтера и никогда не заходил к нам в комнату, если тот был дома. Вообще он почти всех ненавидел.

Он вышел из душевой и подошел ко мне.

–Привет! – говорит. Он всегда говорил таким тоном, как будто ему до смерти скучно или он до смерти устал. Он не хотел, чтобы я подумал, будто он зашел ко мне в гости. Он делал вид, будто зашел нечаянно, черт его дери.

–Привет! – говорю, но книгу не бросаю. Если при таком типе, как Экли, бросить книгу, он тебя замучает. Он все равно тебя замучает, но не сразу, если ты будешь читать.

Он стал бродить по комнате, медленно, как всегда, и трогать все мои вещи на столе и на тумбочке. Вечно он все вещи перетрогает, пересмотрит. До чего же он мне действовал на нервы!

–Ну, как фехтованье? – говорит. Ему непременно хотелось помешать мне читать, испортить все удовольствие. Плевать ему было на фехтованье. – Кто победил – мы или не мы? – спрашивает.

–Никто не победил, – говорю, а сам не поднимаю головы.

–Что? – спросил он. Он всегда переспрашивал.

–Никто не победил. – Я покосился на него, посмотрел, что он там крутит на моей тумбочке. Он рассматривал фотографию девчонки, с которой я дружил в Нью-Йорке, ее звали Салли Хейс. Он эту треклятую карточку, наверно, держал в руках по крайней мере пять тысяч раз. И ставил он ее всегда не на то место. Нарочно – это сразу было видно.

–Никто не победил? – сказал он. – Как же так?

–Да я все это дурацкое снаряжение забыл в метро. – Голову я так и не поднял.

–В метро? Что за черт! Потерял, что ли?

–Мы не на ту линию сели. Все время приходилось вскакивать и смотреть на схему метро.

Он подошел, заслонил мне свет.

–Слушай, – говорю, – я из-за тебя уже двадцатый раз читаю одну и ту же фразу.

Всякий, кроме Экли, понял бы намек. Только не он.

–А тебя не заставят платить? – спрашивает.

–Не знаю и знать не хочу. Может, ты сядешь, Экли, детка, а то ты мне весь свет загородил.

Он ненавидел, когда я называл его «Экли, детка». А сам он вечно говорил, что я еще маленький, потому что мне было шестнадцать, а ему уже восемнадцать. Он бесился, когда я называл его «детка».

А он стал и стоит. Такой это был человек –ни за что не отойдет от света, если его просят. Потом, конечно, отойдет, но если его попросить, он н а р о ч н о не отойдет.

–Что ты читаешь? – спрашивает.

–Не видишь – книгу читаю.

Он перевернул книгу, посмотрел на заголовок.

–Хорошая? – спрашивает.

–Да, особенно э т а фраза, которую я все время читаю. – Я тоже иногда могу быть довольно ядовитым, если я в настроении. Но до него не дошло. Опять он стал ходить по комнате, опять стал цапать все мои вещи и даже вещи Стрэдлейтера. Наконец я бросил книгу на пол. Все равно при Экли читать немыслимо. Просто невозможно.

Я развалился в кресле и стал смотреть, как Экли хозяйничает в моей комнате. От поездки в Нью-Йорк я порядком устал, зевота напала. Но потом начал валять дурака. Люблю иногда подурачиться просто от скуки. Я повернул шапку козырьком вперед и надвинул на самые глаза. Я так ни черта не мог видеть.

–Увы, увы! Кажется, я слепну! – говорю я сиплым голосом. – О моя дорогая матушка, как темно стало вокруг.

–Да ты спятил, ей-богу! – говорит Экли.

–Матушка, родная, дай руку своему несчастному сыну! Почему ты не подаешь мне руку помощи?

–Да перестань ты, балда!

Я стал шарить вокруг, как слепой, не вставая. И все время сипел:

–Матушка, матушка! Почему ты не подашь мне руку?

Конечно, я просто валял дурака. Мне от этого иногда бывает весело. А кроме того, я знал, что Экли злится как черт. С ним я становился настоящим садистом. Злил его изо всех сил, нарочно злил. Но потом надоело. Я опять надел шапку козырьком назад и развалился в кресле.

–Это чье? – спросил Экли. Он взял в руки наколенник моего соседа. Этот проклятый Экли все хватал. Он что угодно мог схватить – шнурки от ботинок, что угодно. Я ему сказал, что наколенник – Стрэдлейтера. Он его сразу швырнул к Стрэдлейтеру на кровать; взял с тумбочки, а швырнул нарочно на кровать.

Потом подошел, сел на ручку второго кресла. Никогда не сядет по-человечески, обязательно на ручку.

–Где ты взял эту дурацкую шапку? – спрашивает.

–В Нью-Йорке.

–Сколько отдал?

–Доллар.

–Обдули тебя. – Он стал чистить свои гнусные ногти концом спички. Вечно он чистил ногти. Странная привычка. Зубы у него были заплесневелые, в ушах – грязь, но ногти он вечно чистил. Наверно, считал, что он чистоплотный. Он их чистил, а сам смотрел на мою шапку. – В моих краях на охоту в таких ходят, понятно? В них дичь стреляют.

–Черта с два! – говорю. Потом снимаю шапку, смотрю на нее. Прищурил один глаз, как будто целюсь. – В ней людей стреляют, – говорю, – я в ней людей стреляю.

–А твои родные знают, что тебя вытурили?

–Нет.

–Где же твой Стрэдлейтер?

–На матче. У него там свидание. – Я опять зевнул. Зевота одолела. В комнате стояла страшная жара, меня разморило, хотелось спать. В этой школе мы либо мерзли как собаки, либо пропадали от жары.

–Знаменитый Стрэдлейтер, – сказал Экли. – Слушай, дай мне на минутку ножницы. Они у тебя близко?

–Нет, я их уже убрал. Они в шкафу, на самом верху.

–Достань их на минутку, а? У меня ноготь задрался, надо срезать.

Ему было совершенно наплевать, убрал ли ты вещь или нет, на самом верху она или еще где. Все-таки я ему достал ножницы. Меня при этом чуть не убило. Только я открыл шкаф, как ракетка Стрэдлейтера –да еще в рамке! – упала прямо мне на голову. Так грохнула, ужасно больно. Экли чуть не помер, до того он хохотал. Голос у него визгливый, тонкий. Я для него снимаю чемодан, вытаскиваю ножницы – а он заливается. Таких, как Экли, хлебом не корми – дай ему посмотреть, как человека стукнуло по голове камнем или еще чем: он просто обхохочется.

–Оказывается, у тебя есть чувство юмора, Экли, детка, – говорю ему. – Ты этого не знал? – Тут я ему подаю ножницы. – Хочешь, я буду твоим менеджером, устрою тебя на радио?

Я сел в кресло, а он стал стричь свои паршивые ногти.

–Может, ты их будешь стричь над столом? – говорю. – Стриги над столом, я не желаю ходить босиком по твоим гнусным ногтям. – Но он все равно бросал их прямо на пол. Отвратительная привычка. Честное слово, противно.

–А с кем у Стрэдлейтера свидание? – спросил он. Он всегда выспрашивал, с кем Стрэдлейтер водится, хотя он его ненавидит.

–Не знаю. А тебе что?

–Просто так. Не терплю я эту сволочь. Вот уж не терплю!

–А он тебя обожает! Сказал, что ты – настоящий принц! – говорю. Я часто говорю кому-нибудь, что он – настоящий принц. Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно.

–Он всегда задирает нос, – говорит Экли. – Не выношу эту сволочь. Можно подумать, что он…

–Слушай, может быть, ты все-таки будешь стричь ногти над столом? – говорю. – Я тебя раз пятьдесят просил…

–Задирает нос все время, – повторил Экли. – По-моему, он просто болван. А думает, что умный. Он думает, что он – самый умный…

–Экли! Черт тебя дери! Будешь ты стричь свои паршивые ногти над столом или нет? Я тебя пятьдесят раз просил, слышишь?

Тут он, конечно, стал стричь ногти над столом. Его только и заставишь что-нибудь сделать, когда накричишь на него.

Я посмотрел на него, потом сказал:

–Ты злишься на Стрэдлейтера за то, что он говорил, чтобы ты хоть иногда чистил зубы. Он тебя ничуть не хотел обидеть! И сказал он не нарочно, ничего обидного он не говорил. Просто он хотел сказать, что ты чувствовал бы себя лучше и выглядел бы лучше, если бы хоть изредка чистил зубы.

–А я не чищу, что ли? И ты туда же!

–Нет, не чистишь! Сколько раз я за тобой следил, не чистишь – и все!

Я с ним говорил спокойно. Мне даже его было жаль. Я понимаю, не очень приятно, когда тебе говорят, что ты не чистишь зубы.

–Стрэдлейтер не сволочь. Он не такой уж плохой. Ты его просто не знаешь, в этом все дело.

–А я говорю – сволочь. И воображала.

–Может, он и воображает, но в некоторых вещах он человек широкий, – говорю. – Это правда. Ты пойми. Представь себе, например, что у Стрэдлейтера есть галстук или еще какая-нибудь вещь, которая тебе нравится. Ну, например, на нем галстук, и этот галстук тебе ужасно понравился – я просто говорю к примеру. Значит, что он сделал бы? Он, наверно, снял бы этот галстук и отдал тебе. Да, отдал. Или знаешь, что он сделал бы? Он бы оставил этот галстук у тебя на кровати или на столе. В общем, он бы тебе подарил этот галстук, понятно? А другие – никогда.

–Черта лысого! – сказал Экли. – Будь у меня столько денег, я бы тоже дарил галстуки.

–Нет, не дарил бы! – Я даже головой покачал. – И не подумал бы, детка! Если б у тебя было столько денег, как у него, ты был бы самым настоящим…

–Не смей называть меня «детка»! Черт! Я тебе в отцы гожусь, дуралей!

–Нет, не годишься! – До чего он меня раздражал, сказать не могу. И ведь не упустит случая ткнуть тебе в глаза, что ему восемнадцать, а тебе только шестнадцать. – Во-первых, я бы тебя в свой дом на порог не пустил…

–Словом, не смей меня называть…

Вдруг дверь открылась и влетел сам Стрэдлейтер. Он всегда куда-то летел. Вечно ему было некогда, все важные дела. Он подбежал ко мне, похлопал по щекам –тоже довольно неприятная привычка – и спрашивает:

–Ты идешь куда-нибудь вечером?

–Не знаю. Возможно. А какая там погода – снег, что ли?

Он весь был в снегу.

–Да, снег. Слушай, если тебе никуда не надо идти, дай мне свою замшевую куртку на вечер.

–А кто выиграл? – спрашиваю.

–Еще не кончилось. Мы уходим. Нет, серьезно, дашь мне свою куртку, если она тебе не нужна? Я залил свою серую какой-то дрянью.

–Да, а ты мне ее всю растянешь, у тебя плечи черт знает какие, – говорю. Мы с ним почти одного роста, но он весил раза в два больше и плечи у него были широченные.

–Не растяну! – Он подбежал к шкафу. – Как делишки, Экли? – говорит. Он довольно приветливый малый, этот Стрэдлейтер. Конечно, это притворство, но все-таки он всегда здоровался с Экли.

А тот только буркнул что-то, когда Стрэдлейтер спросил: «Как делишки?» Экли не желал отвечать, но все-таки что-то буркнул –промолчать у него духу не хватило. А мне говорит:

–Ну, я пойду! Еще увидимся.

–Ладно! – говорю. Никто не собирался плакать, что он наконец ушел к себе.

Стрэдлейтер уже снимал пиджак и галстук.

–Надо бы побриться! – сказал он. У него здорово росла борода. Настоящая борода!

–А где твоя девочка?

–Ждет в том крыле, – говорит. Он взял полотенце, бритвенный прибор и вышел из комнаты. Так и пошел без рубашки. Он всегда расхаживал голый до пояса, считал, что он здорово сложен. И это верно, тут ничего не скажешь.

4

Делать мне было нечего, и я пошел за ним в умывалку потрепать языком, пока он будет бриться. Кроме нас, там никого не было, ребята сидели на матче. Жара была адская, все окна запотели. Вдоль стенки было штук десять раковин. Стрэдлейтер встал к средней раковине, а я сел на другую, рядом с ним, и стал открывать и закрывать холодный кран. Это у меня чисто нервное. Стрэдлейтер брился и насвистывал «Индийскую песню». Свистел он ужасно пронзительно и всегда фальшивил, а выбирал такие песни, которые и хорошему свистуну трудно высвистеть, –например «Индийскую песню» или «Убийство на Десятой авеню». Он любую песню мог исковеркать.

Я уже говорил, что Экли был зверски нечистоплотен. Стрэдлейтер тоже был нечистоплотный, но как-то по-другому. Снаружи это было незаметно. Выглядел он всегда отлично. Но вы бы посмотрели, какой он бритвой брился. Ржавая, как черт, вся в волосах, в засохшей пене. Он ее никогда не мыл. И хоть выглядел он отлично, особенно когда наводил на себя красоту, но все равно он был нечистоплотный, уж я-то его хорошо знал. А наводить красоту он любил, потому что был безумно в себя влюблен. Он считал, что красивей его нет человека на всем западном полушарии. Он и на самом деле был довольно красивый –это верно. Но красота у него была такая, что все родители, когда видели его портрет в школьном альбоме, непременно спрашивали: «Кто этот мальчик?» Понимаете, красота у него была какая-то альбомная. У нас в Пэнси было сколько угодно ребят, которые, по-моему, были в тысячу раз красивей Стрэдлейтера, но на фото они выходили совсем не такими красивыми. То у них носы казались слишком длинными, то уши торчали. Я это хорошо знаю.

Я сидел на умывальнике рядом со Стрэдлейтером и то закрывал, то открывал кран. На мне все еще была моя красная охотничья шапка задом наперед. Ужасно она мне нравилась, эта шапка.

–Слушай! – сказал Стрэдлейтер. – Можешь сделать мне огромное одолжение?

–Какое? – спросил я. Особенного удовольствия я не испытывал. Вечно он просил сделать ему огромное одолжение. Эти красивые ребята считают себя пупом земли и вечно просят сделать им огромное одолжение. Они до того в себя влюблены, что считают, будто ты тоже в них влюблен и только мечтаешь сделать им одолжение. Чудаки, право.

–Ты куда-нибудь идешь вечером? – спрашивает он.

–Может, пойду, а может, и нет. А что?

–Мне надо к понедельнику прочесть чуть ли не сто страниц по истории, – говорит он. – Не напишешь ли ты за меня английское сочинение? Мне несдобровать, если я в понедельник ничего не сдам, потому и прошу. Напишешь?

Ну не насмешка ли? Честное слово, насмешка!

–Меня выгоняют из школы к чертям собачьим, а ты просишь, чтобы я за тебя писал какое-то сочинение! – говорю.

–Знаю, знаю. Но беда в том, что мне будет плохо, если я его не подам. Будь другом. А, дружище? Сделаешь?

Я не сразу ответил. Таких типов, как он, полезно подержать в напряжении.

–О чем писать? – спрашиваю.

–О чем хочешь. Любое описание. Опиши комнату. Или дом. Или какое-нибудь место, где ты жил. Что угодно, понимаешь? Лишь бы вышло живописно, черт его дери. – Тут он зевнул во весь рот. Вот от такого отношения у меня все кишки переворачивает! Понимаете – просит тебя сделать одолжение, а сам зевает вовсю! – Ты особенно не старайся! – говорит он. – Этот чертов Хартселл считает, что ты в английском собаку съел, а он знает, что мы с тобой вместе живем. Так ты уж не очень старайся правильно расставлять запятые и все эти знаки препинания.

От таких разговоров у меня начинается резь в животе. Человек умеет хорошо писать сочинения, а ему начинают говорить про запятые. Стрэдлейтер только так и понимал это. Он старался доказать, что не умеет писать исключительно из-за того, что не туда растыкивает запятые. Совсем как Экли –он тоже такой. Один раз я сидел с Экли на баскетбольных состязаниях. Там в команде был потрясающий игрок, Хови Койл, он мог забросить мяч с самой середины точно в корзину, даже щита не заденет. А Экли всю игру бубнил, что у Койла хороший р о с т для баскетбола – и все, понимаете? Ненавижу такую болтовню!

Наконец мне надоело сидеть на умывальнике, я соскочил и стал отбивать чечетку, просто для смеху. Хотелось поразмяться –а танцевать чечетку я совсем не умею. Но в умывалке пол каменный, на нем очень здорово отбивать чечетку. Я стал подражать одному актеру из кино. Видел его в музыкальной комедии. Ненавижу кино до чертиков, но ужасно люблю изображать актеров. Стрэдлейтер все время смотрел на меня в зеркало, пока брился. А мне только подавай публику. Я вообще люблю выставляться.

–Я сын самого губернатора! – говорю. Вообще я тут стал стараться. Ношусь по всей умывалке. – Отец не позволяет мне стать танцором. Он посылает меня в Оксфорд. Но чечетка у меня в крови, черт подери!

Стрэдлейтер захохотал. У него все-таки было чувство юмора.

–Сегодня – премьера обозрения Зигфилда. – Я уже стал задыхаться. Дыхание у меня ни к черту. – Герой не может выступать! Пьян в стельку. Кого же берут на его место? Меня, вот кого! Меня – бедного, несчастного губернаторского сынка!

–Где ты отхватил такую шапку? – спросил Стрэдлейтер. Он только сейчас заметил мою охотничью шапку.

Я уже запыхался и перестал валять дурака. Снял шапку, посмотрел на нее в сотый раз.

–В Нью-Йорке купил сегодня утром. Заплатил доллар. Нравится?

Стрэдлейтер кивнул.

–Шик, – сказал он. Он просто ко мне подлизывался, сразу спросил: – Слушай, ты напишешь за меня сочинение или нет? Мне надо знать.

–Будет время – напишу, а не будет – не напишу.

Я опять сел на умывальник рядом с ним.

–А с кем у тебя свидание? С Фитцджеральд?

–Какого черта! Я с этой свиньей давно не вожусь.

–Ну? Так уступи ее мне, друг! Серьезно. Она в моем вкусе.

–Бери, пожалуйста! Только она для тебя старовата.

И вдруг просто так, без всякой причины мне захотелось соскочить с умывальника и сделать дураку Стрэдлейтеру двойной нельсон. Сейчас объясню –это такой прием в борьбе, хватаешь противника за шею и ломаешь насмерть, если надо. Я и прыгнул. Прыгнул на него, как пантера!

–Брось, Холден, балда! – сказал Стрэдлейтер. Он не любил, когда валяли дурака. Тем более он брился. – Хочешь, чтоб я себе глотку перерезал?

Но я его не отпускал. Я его здорово сжал двойным нельсоном.

–Попробуй, – говорю, – вырвись из моей железной хватки!

–О черт! – Он положил бритву и вдруг вскинул руки и вырвался от меня. Он очень сильный. А я очень слабый. – Брось дурить! – сказал он. Он стал бриться второй раз. Он всегда бреется по второму разу, красоту наводит. А бритва у него грязная.

–С кем же у тебя свидание, если не с Фитцджеральд? – спрашиваю. Я опять сел рядом с ним на умывальник. – С маленькой Филлис Смит, что ли?

–Нет. Должен был встретиться с ней, но все перепуталось. Меня ждет подруга девушки Бэда Тоу. Погоди, чуть не забыл. Она тебя знает.

–Кто меня знает?

–Моя девушка.

–Ну да! – сказал я. – А как ее зовут? – Мне даже стало интересно.

–Сейчас вспомню… Да, Джин Галлахер.

Господи, я чуть не сдох, когда услышал.

–Д ж е й н Галлахер! – говорю. Я даже вскочил с умывальника, когда услышал. Честное слово, я чуть не сдох! – Ну конечно, я с ней знаком! Позапрошлым летом она жила совсем рядом. У нее еще был такой огромный доберман-пинчер. Мы из-за него и познакомились. Этот пес бегал гадить в наш сад.

–Ты мне свет застишь, Холден, – говорит Стрэдлейтер. – Отойди к бесу, места другого нет, что ли?

Ох, как я волновался, честное слово!

–Где же она? В том крыле, да?

–Угу.

–Как это она меня вспомнила? Где она теперь учится – в Брин-Море? Она говорила, что, может быть, поступит туда. Или в Шипли, она говорила, что, может быть, пойдет в Шипли. Я думал, что она учится в Шипли. Как это она меня вспомнила? – Я и на самом деле волновался, правда!

–Да почем я знаю, черт возьми! Встань, слышишь?

Я сидел на его поганом полотенце.

–Джейн Галлахер! – сказал я. Я никак не мог опомниться. – Вот так история!

Стрэдлейтер припомаживал волосы бриолином. М о и м бриолином.

–Она танцует, – сказал я. – Занимается балетом. Каждый день часа по два упражнялась, даже в самую жару. Боялась, что у нее ноги испортятся – растолстеют и все такое. Я с ней все время играл в шашки.

–Во что-о-о?

–В шашки.

–Фу ты, дьявол, он играл в ш а ш к и!!!

–Да, она никогда не переставляла дамки. Выйдет у нее какая-нибудь шашка в дамки, она ее с места не сдвинет. Так и оставит в заднем ряду. Выстроит все дамки в последнем ряду и ни одного хода не сделает. Ей просто нравилось, что они стоят в последнем ряду.

Стрэдлейтер промолчал. Вообще такие вещи обычно никого не интересуют.

–Ее мать была в том же клубе, что и мы, – сказал я. – Я там носил клюшки для гольфа, подрабатывал. Я несколько раз носил ее матери клюшки. Она на девяти ямках била чуть ли не сто семьдесят раз.

Стрэдлейтер почти не слушал. Он расчесывал свою роскошную шевелюру.

–Надо было бы пойти поздороваться с ней, что ли, – сказал я.

–Чего ж ты не идешь?

–Я и пойду через минутку.

Он стал снова делать пробор. Причесывался он всегда битый час.

–Ее мать развелась с отцом. Потом вышла замуж за какого-то алкоголика, – сказал я. – Худой такой черт, с волосатыми ногами. Я его хорошо помню. Всегда ходил в одних трусах. Джейн рассказывала, что он какой-то писатель, сценарист, что ли, черт его знает, но при мне он только пил, как лошадь, и слушал все эти идиотские детективы по радио. И бегал по всему дому голый. При Джейн, при всех.

–Ну? – сказал Стрэдлейтер. Тут он вдруг оживился, когда я сказал, что алкоголик бегал голый при Джейн. Ужасно распутная сволочь этот Стрэдлейтер.

–Детство у нее было страшное. Я серьезно говорю.

Но это его не интересовало, Стрэдлейтера. Он только всякой похабщиной интересовался.

–О черт! Джейн Галлахер! – Я никак не мог опомниться. Ну никак! – Надо бы хоть поздороваться с ней, что ли.

–Какого же черта ты не идешь? Стоит тут, болтает.

Я подошел к окну, но ничего не было видно, окна запотели от жары.

–Я не в настроении сейчас, – говорю. И на самом деле я был совсем не в настроении. А без настроения ничего делать нельзя. – Я думал, что она поступила в Шипли. Готов был поклясться, что она учится в Шипли. – Я походил по умывалке. – Понравился ей футбол? – спрашиваю.

–Да, как будто. Не знаю.

–Она тебе рассказывала, как мы с ней играли в шашки, вообще рассказывала что-нибудь?

–Не помню я. Мы только что познакомились, не приставай! – Стрэдлейтер уже расчесал свои роскошные кудри и складывал грязную бритву.

–Слушай, передай ей от меня привет, ладно?

–Ладно, – сказал Стрэдлейтер, но я знал, что он ничего не передаст. Такие, как Стрэдлейтер, никогда не передают приветов.

Он пошел в нашу комнату, а я еще поторчал в умывалке, вспомнил старушку Джейн. Потом тоже пошел в комнату.

Стрэдлейтер завязывал галстук перед зеркалом, когда я вошел. Он полжизни проводил перед зеркалом. Я сел в свое кресло и стал на него смотреть.

–Эй, – сказал я, – ты ей только не говори, что меня вытурили.

–Не скажу.

У Стрэдлейтера была одна хорошая черта. Ему не приходилось объяснять каждую мелочь, как, например, Экли. Наверно, потому, что Стрэдлейтеру было на все наплевать. А Экли –дело другое. Тот во все совал свой длинный нос.

Стрэдлейтер надел мою куртку.

–Не растягивай ее, слышишь? – сказал я. – Я ее всего раза два и надевал.

–Не растяну. Куда девались мои сигареты?

–Вон на столе… – Он никогда не знал, где что лежит. – Под твоим шарфом. – Он сунул сигареты в карман куртки – м о е й куртки.

Я вдруг перевернул свою красную шапку по-другому, козырьком вперед. Что-то я начинал нервничать. Нервы у меня вообще ни к черту.

–Скажи, а куда ты с ней поедешь? – спросил я. – Ты уже решил?

–Сам не знаю. Если будет время, поедем в Нью-Йорк. Она по глупости взяла отпуск только до половины десятого.

Мне не понравилось, как он это сказал, я ему и говорю:

–Она взяла отпуск только до половины десятого, потому что не разглядела, какой ты красивый и обаятельный, сукин ты сын. Если б она р а з г л я д е л а, она взяла бы отпуск до половины десятого у т р а!

–И правильно! – сказал Стрэдлейтер. Его ничем не подденешь. Слишком он воображает. – Брось темнить, – говорит, – напишешь ты за меня сочинение или нет? – Он уже надел пальто и собрался уходить. – Особенно не старайся, пусть только будет живописно, понял? Напишешь?

Я ему не ответил. Настроения не было. Я только сказал:

–Спроси ее, она все еще расставляет дамки в последнем ряду?

–Ладно, сказал Стрэдлейтер, но я знал, что он не спросит. – Ну пока! – Он хлопнул дверью и смылся.

А я сидел еще с полчаса. Просто сидел в кресле, ни черта не делал. Все думал о Джейн и о том, что у нее свидание со Стрэдлейтером. Я так нервничал, чуть с ума не спятил. Я вам уже говорил, какой он похабник, сволочь такая.

И вдруг Экли опять вылез из душевой в нашу комнату. В первый раз за всю здешнюю жизнь я ему обрадовался. Отвлек меня от разных мыслей.

Сидел он у меня до самого обеда, говорил про ребят, которых ненавидит, и ковырял громадный прыщ у себя на подбородке. Пальцами, без носового платка. Не знаю, был ли у этой скотины носовой платок. Никогда не видел у него платка.

5

По субботам у нас всегда бывал один и тот же обед. Считалось, что обед роскошный, потому что давали бифштекс.

Могу поставить тысячу долларов, что кормили они нас бифштексом потому, что по воскресеньям к ребятам приезжали родители, и старик Термер, вероятно, представлял себе, как чья-нибудь мамаша спросит своего дорогого сыночка, что ему вчера давали на обед, и он скажет –бифштекс. Все это жульничество. Вы бы посмотрели на эти бифштексы. Жесткие как подметка, нож не берет. К ним всегда подавали картофельное пюре с комками, а на сладкое – «рыжую Бетти», пудинг с патокой, только его никто не ел, кроме малышей из первых классов да таких, как Экли, которые на все накидывались.

После обеда мы вышли на улицу, погода была славная. Снег лежал на земле дюйма на три и все еще сыпал как оголтелый. Красиво было до чертиков. Мы начали играть в снежки и тузить друг друга. Ребячество, конечно, но всем стало очень весело.

Делать мне было нечего, и мы с моим приятелем, с Мэлом Броссаром из команды борцов, решили поехать на автобусе в Эгерстаун съесть по котлете, а может быть, и посмотреть какой-нибудь дурацкий фильм. Не хотелось весь вечер торчать дома. Я спросил Мэла –ничего, если Экли тоже поедет с нами? Я решил позвать Экли, потому что он даже по субботам н и к у д а не ходил, сидел дома и давил прыщи. Мэл сказал, что это, конечно, ничего, хотя он и не в восторге. Он не очень любил этого Экли. Словом, мы пошли к себе одеваться, и, пока я надевал калоши и прочее, я крикнул Экли, не хочет ли он пойти в кино. Такие, как он, сразу не отвечают. Наконец он появился, раздвинул занавеску душевой, стал на пороге и спрашивает, кто еще пойдет. Ему обязательно нужно было знать, кто да кто идет. Честное слово, если б он потерпел кораблекрушение и какая-нибудь лодка пришла его спасать, он, наверно, потребовал бы, чтоб ему сказали, кто гребет на этой самой лодке, – иначе он и не полез бы в нее. Я сказал, что едет Мэл Броссар. А он говорит:

–Ах, этот подонок… Ну ладно. Подожди меня минутку.

Можно было подумать, что он тебе делает величайшее одолжение.

Одевался он часов пять. А я пока что подошел к окну, открыл его настежь и слепил снежок. Снег очень хорошо лепился. Но я никуда не швырнул снежок, хоть и собрался его бросить в машину –она стояла через дорогу. Но потом передумал – машина вся была такая чистая, белая. Потом хотел залепить снежком в водокачку, но она тоже была чистая и белая. Так я снежок никуда и не кинул. Закрыл окно и начал его катать, чтоб он стал еще тверже. Я его еще держал в руках, когда мы с Броссаром и Экли сели в автобус. Кондуктор открыл дверцу и велел мне бросить снежок. Я сказал, что не собираюсь ни в кого кидать, но он мне не поверил. Никогда тебе люди не верят.

И Броссар и Экли уже видели этот фильм, так что мы съели по котлете, поиграли в рулетку-автомат, а потом поехали обратно в школу. Я не жалел, что мы не пошли в кино. Там шла какая-то комедия с Гэри Грантом –муть, наверно. А потом я уж как-то ходил в кино с Экли и Броссаром. Они оба гоготали, как гиены, даже в несмешных местах. Мне и сидеть с ними рядом было противно.

Было всего без четверти десять, когда мы вернулись в общежитие. Броссар обожал бридж и пошел искать партнера. Экли, конечно, влез ко мне в комнату. Только теперь он сел не на ручку стрэдлейтеровского кресла, а плюхнулся на мою кровать, прямо лицом в подушку. Лег и завел волынку, монотонным таким голосом, а сам все время ковырял прыщи. Я раз сто ему намекал, но никак не мог от него отделаться. Он все говорил и говорил, монотонным таким голосом, про какую-то девчонку, с которой он путался прошлым летом. Он мне про это рассказывал раз сто, и каждый раз по-другому. То он с ней спутался в «бьюике» своего кузена, то где-то в подъезде. Главное, все это было вранье. Ручаюсь, что он женщин не знал, это сразу было видно. Наверно, он и не дотрагивался ни до кого, честное слово. В общем, мне пришлось откровенно ему сказать, что мне надо писать сочинение за Стрэдлейтера и чтоб он выметался, а то я не могу сосредоточиться. В конце концов он ушел, только не сразу –он ужасно всегда канителится. А я надел пижаму, халат и свою дикую охотничью шапку и сел писать сочинение.

Беда была в том, что я никак не мог придумать, про какую комнату или дом можно написать живописно, как задали Стрэдлейтеру. Вообще я не особенно люблю описывать всякие дома и комнаты. Я взял и стал описывать бейсбольную рукавицу моего братишки Алли. Эта рукавица была очень живописная, честное слово. У моего брата, у Алли, была бейсбольная рукавица на левую руку. Он был левша. А живописная она была потому, что он всю ее исписал стихами –и ладонь и кругом, везде. Зелеными чернилами. Он написал эти стихи, чтобы можно было их читать, когда мяч к нему не шел и на поле нечего было делать. Он умер. Заболел белокровием и умер 18 июля 1946 года, когда мы жили в Мейне. Он вам понравился бы. Он был моложе меня на два года, но раз в пятьдесят умнее. Ужасно был умный. Его учителя всегда писали маме, как приятно, что у них в классе учится такой мальчик, как Алли. И они не врали, они и на самом деле так думали. Но он не только был самый умный в нашей семье. Он был и самый хороший, во многих отношениях. Никогда он не разозлится, не вспылит. Говорят, рыжие чуть что – начинают злиться, но Алли никогда не злился, а он был ужасно рыжий. Я вам расскажу, до чего он был рыжий. Я начал играть в гольф с десяти лет. Помню, как-то весной, когда мне уже было лет двенадцать, я гонял мяч, и все время у меня было такое чувство, что стоит мне обернуться – и я увижу Алли. И я обернулся и вижу: так оно и есть – сидит он на своем велосипеде за забором – за тем забором, который шел вокруг всего поля, – сидит там, ярдов за сто пятьдесят от меня, и смотрит, как я бью. Вот до чего он был рыжий! И ужасно славный, ей-богу. Ему иногда за столом что-нибудь придет в голову, и он вдруг как начнет хохотать, прямо чуть не падал со стула. Тогда мне было тринадцать лет, и родители хотели показать меня психиатру, потому что я перебил все окна в гараже. Я их понимаю, честное слово. В ту ночь, как Алли умер, я ночевал в гараже и перебил дочиста все стекла, просто кулаком, не знаю зачем. Я даже хотел выбить стекла в машине – в то лето у нас был «пикап», – но уже разбил себе руку и ничего не мог. Я понимаю, что это было глупо, но я сам не соображал, что делаю, а кроме того, вы не знаете, какой был Алли. У меня до сих пор иногда болит рука, особенно в дождь, и кулак я не могу сжать крепко, как следует, но в общем это ерунда. Все равно я не собираюсь стать ни каким-то там хирургом, ни скрипачом, вообще никем таким.

Вот об этом я и написал сочинение для Стрэдлейтера. О бейсбольной рукавице нашего Алли. Она случайно оказалась у меня в чемодане, я ее вытащил и переписал все стихи, которые на ней были. Мне только пришлось переменить фамилию Алли, чтоб никто не догадался, что он мой брат, а не Стрэдлейтера. Мне не особенно хотелось менять фамилию, но я не мог придумать ничего другого. А кроме того, мне даже нравилось писать про это. Сидел я битый час, потому что пришлось писать на дрянной машинке Стрэдлейтера, и она все время заедала. А свою машинку я одолжил одному типу в другом коридоре.

Кончил я около половины одиннадцатого. Но не особенно устал и начал глядеть в окошко. Снег перестал, издали слышался звук мотора, который никак не заводился. И еще слышно было, как храпел Экли. Даже сквозь душевую был слышен его противный храп. У него был гайморит, и он не мог во сне дышать как следует. Все у него было: и гайморит, и прыщи, и гнилые зубы –изо рта пахнет, ногти ломаются. Даже как-то жаль его, дурака.

6

Бывает, что нипочем не можешь вспомнить, как это было. Я все думаю –когда же Стрэдлейтер вернулся со свидания с Джейн? Понимаете, я никак не вспомню, что я делал, когда вдруг услышал его шаги в коридоре, наглые, громкие. Наверно, я все еще смотрел в окно, но вспомнить точно не могу, хоть убей. Ужасно я волновался, потому и не могу вспомнить, как было. А уж если я волнуюсь, так это не притворство. Мне даже хочется в уборную, когда я волнуюсь. Но я не иду. Волнуюсь, оттого и не иду. Если бы вы знали Стрэдлейтера, вы бы тоже волновались. Я раза два ходил вместе с этим подлецом на свидания. Я знаю, про что говорю. У него совести нет ни капли, ей-богу, нет.

А в коридоре у нас –сплошной линолеум, так что издали было слышно, как он, мерзавец, подходит к нашей комнате. Я даже не помню, где я сидел, когда он вошел, – в своем кресле, или у окна, или в его кресле. Честное слово, не могу вспомнить.

Он вошел и сразу стал жаловаться, какой холод. Потом спрашивает:

–Куда к черту все пропали? Ни живой души – форменный морг.

Я ему и не подумал отвечать. Если он, болван, не понимает, что в субботу вечером все ушли, или спят, или уехали к родным, чего ради мне лезть вон из кожи объяснять ему. Он стал раздеваться. А про Джейн –ни слова. Ни единого словечка. И я молчу. Только смотрю на него. Правда, он меня поблагодарил за куртку. Надел ее на плечики и повесил в шкаф.

А когда он развязывал галстук, спросил меня, написал ли я за него это дурацкое сочинение. Я сказал, что вон оно, на его собственной кровати. Он подошел и стал читать, пока расстегивал рубаху. Стоит читает, а сам гладит себя по голой груди с самым идиотским выражением лица. Вечно он гладил себя то по груди, то по животу. Он себя просто обожал.

И вдруг говорит:

–Что за чертовщина, Холден? Тут про какую-то дурацкую рукавицу!

–Ну так что же? – спрашиваю я. Ледяным голосом.

–То есть как это – что же? Я же тебе говорил, надо описать комнату или дом, балда!

–Ты сказал, нужно какое-нибудь описание. Не все ли равно, что описывать – рукавицу или еще что?

–Эх, черт бы тебя подрал! – Он разозлился не на шутку. Просто рассвирепел. – Все ты делаешь через ж… кувырком. – Тут он посмотрел на меня. – Ничего удивительного, что тебя отсюда выкинули, – говорит. – Никогда ты ничего не сделаешь по-человечески. Никогда! Понял?

–Ладно, ладно, отдай листок! – говорю. Подошел, выхватил у него этот треклятый листок, взял и разорвал.

–Что за черт? – говорит. – Зачем ты разорвал?

Я ему даже не ответил. Бросил клочки в корзинку, и все. Потом лег на кровать, и мы оба долго молчали. Он разделся, остался в трусах, а я закурил, лежа на кровати. Курить в спальнях не полагается, но поздно вечером, когда одни спят, а другие ушли, никто не заметит, что пахнет дымом. И потом мне хотелось позлить Стрэдлейтера. Он из себя выходил, когда нарушали правила. Сам он никогда в спальне не курил. А я курил.

Так он и не сказал ни единого словечка про Джейн, ничего. Тогда я сам заговорил:

–Поздно же ты явился, черт побери, если ее отпустили только до девяти тридцати. Она из-за тебя не опоздала, вернулась вовремя?

Он сидел на краю своей койки и стриг ногти на ногах, когда я с ним заговорил.

–Самую малость опоздала, – говорит. – А какого черта ей было отпрашиваться только до половины десятого, да еще в субботу?

О господи, как я его ненавидел в эту минуту!

–В Нью-Йорк ездили? – спрашиваю.

–Ты спятил? Как мы могли попасть в Нью-Йорк, если она отпросилась только до половины десятого?

–Жаль, жаль! – сказал я.

Он посмотрел на меня.

–Слушай, если тебе хочется курить, шел бы ты в уборную. Ты-то отсюда выметаешься, а мне торчать в школе, пока не окончу.

Я на него даже внимания не обратил, будто его и нет. Курю как сумасшедший, и все. Только повернулся на бок и смотрю, как он стрижет свои подлые ногти. Да, ничего себе школа! Вечно при тебе то прыщи давят, то ногти на ногах стригут.

–Ты ей передал от меня привет? – спрашиваю.

–Угу.

Черта лысого он передал, подонок!

–А что она сказала? Ты ее спросил, она по-прежнему ставит все дамки в последний ряд?

–Нет. Не спросил. Что мы с ней – в шашки играли весь вечер, как, по-твоему?

Я ничего ему не ответил. Господи, как я его ненавидел!

–Раз вы не ездили в Нью-Йорк, где же вы с ней были? – спросил я немного погодя. Я ужасно старался, чтоб голос у меня не дрожал, как студень. Нервничал я здорово. Видно, чувствовал, что что-то неладно.

Он наконец обрезал ногти. Встал с кровати в одних трусиках и вдруг начал дурака валять. Подошел ко мне, нагнулся и стал меня толкать в плечо –играет, гад.

–Брось, – говорю, – куда же вы девались, раз вы не поехали в Нью-Йорк?

–Никуда. Сидели в машине, и все! – Он опять стал толкать меня в плечо, дурак такой.

–Брось! – говорю. – В чьей машине?

–Эда Бэнки.

Эд Бэнки был наш тренер по баскетболу. Этот Стрэдлейтер ходил у него в любимчиках, он играл центра в школьной команде, и Эд Бэнки всегда давал ему свою машину. Вообще ученикам не разрешалось брать машину у преподавателей, но эти скоты спортсмены всегда заодно. Во всех школах, где я учился, эти скоты заодно.

А Стрэдлейтер все делает вид, будто боксирует с тенью, все толкает меня в плечо и толкает. В руках у него была зубная щетка, и он сунул ее в рот.

–Что ж вы с ней делали? Путались в машине Эда Бэнки? – голос у меня дрожал просто ужас до чего.

–Ай-ай-ай, какие гадкие слова! Вот я сейчас намажу тебе язык мылом!

–Было дело?

–Это профессиональная тайна, братец мой!

Дальше я что-то не очень помню. Знаю только, что я вскочил с постели, как будто мне понадобилось кое-куда, и вдруг ударил его со всей силы, прямо по зубной щетке, чтобы она разодрала его подлую глотку. Только не попал. Промахнулся. Стукнул его по голове, и все. Наверно, ему было больно, но не так, как мне хотелось. Я бы его мог ударить больнее, но бил я правой рукой. А я ее как следует не могу сжать. Помните, я вам говорил, как я разбил эту руку.

Но тут я очутился на полу, а он сидел на мне красный как рак. Понимаете, уперся коленями мне в грудь, а весил он целую тонну. Руки мне зажал, чтоб я его не ударил. Убил бы я его, подлеца.

–Ты что, спятил? – повторяет, а морда у него все краснее и краснее, у болвана.

–Пусти, дурак! – говорю. Я чуть не ревел, честное слово. – Уйди от меня, сволочь поганая, слышишь?

А он не отпускает. Держит мои руки, а я его обзываю сукиным сыном и всякими словами часов десять подряд. Я даже не помню, что ему говорил. Я ему сказал, что он воображает, будто он может путаться с кем ему угодно. Я ему сказал, что ему безразлично, переставляет девчонка шашки или нет, и вообще ему все безразлично, потому что он идиот и кретин. Он ненавидел, когда его обзывали кретином. Все кретины ненавидят, когда их называют кретинами.

–Ну-ка замолчи, Холден! – говорит, а рожа у самого глупая, красная. – Замолчи, слышишь!

–Ты даже не знаешь, как ее зовут – Джин или Джейн, кретин несчастный!

–Замолчи, Холден, тебе говорят, черт подери! – Я его таки вывел из себя. – Замолчи, или я тебе так врежу!

–Сними с меня свои вонючие коленки, болван, идиот!

–Я тебя отпущу – только замолчи! Замолчишь?

Я ему не ответил.

Он опять сказал:

–Если отпущу, ты замолчишь?

–Да.

Он слез с меня, и я тоже встал. От его паршивых коленок у меня вся грудь болела.

–Все равно ты кретин, слабоумный идиот, сукин сын! – говорю.

Тут он совсем взбесился. Тычет мне под нос свой толстый палец, кретин этакий, грозит:

–Холден, в последний раз предупреждаю, если ты не заткнешь глотку, я тебе так дам…

–А чего мне молчать? – спрашиваю, а сам уже ору на него: – В том-то и беда с вами, кретинами. Вы и поговорить по-человечески не можете. Кретина за сто миль видно: он даже поговорить не умеет…

Тут он развернулся по-настоящему, и я опять очутился на полу. Не помню, потерял я сознание или нет, по-моему, нет. Человека очень трудно нокаутировать –это только в кино легко. Но кровь у меня текла из носу отчаянно. Когда я открыл глаза, дурак Стрэдлейтер стоял прямо надо мной. У него в руках был умывальный прибор.

–Я же тебя предупреждал, – говорит. Видно, он здорово перепугался, боялся, должно быть, что я разбил голову, когда грохнулся на пол. Жаль, что я не разбился.

–Сам виноват, черт проклятый! – говорит. Ух, и перепугался же он!

А я и не встал. Лежу на полу и ругаю его идиотом, сукиным сыном. Так был зол на него, что чуть не ревел.

–Слушай, пойди-ка умойся! – говорит он. – Слышишь?

А я ему говорю, пусть сам пойдет умоет свою подлую рожу –конечно, это было глупо, ребячество так говорить, но уж очень я был зол, пусть, говорю, сам пойдет, а по дороге в умывалку пусть шпокнет миссис Шмит. А миссис Шмит была жена нашего швейцара, старуха лет под семьдесят.

Так я и сидел на полу, пока дурак Стрэдлейтер не ушел. Я слышал, как он идет по коридору в умывалку. Тогда я встал. И никак не мог отыскать эту треклятую шапку. Потом все-таки нашел. Она закатилась под кровать. Я ее надел, повернул козырьком назад –мне так больше нравилось – и посмотрел на свою дурацкую рожу в зеркало. Никогда в жизни я не видел столько кровищи! Весь рот у меня был в крови и подбородок, даже вся пижама и халат. Мне и страшно было и интересно. Вид у меня от этой крови был какой-то прожженный. Я и всего-то дрался раза два в жизни и оба раза неудачно. Из меня драчун плохой. Я вообще пацифист, если уж говорить всю правду.

Мне казалось, что Экли не спит и все слышит. Я прошел через душевую в его комнату посмотреть, что он там делает. Я к нему редко заходил. У него всегда чем-то воняло –уж очень он был нечистоплотный.

7

Через занавески в душевой чуть-чуть пробивался свет из нашей комнаты, и я видел, что он лежит в постели. Но я отлично знал, что он не спит.

–Экли? – говорю. – Ты не спишь?

–Нет.

Было темно, и я споткнулся о чей-то башмак и чуть не полетел через голову. Экли приподнялся на подушке, оперся на локоть. У него все лицо было намазано чем-то белым от прыщей. В темноте он был похож на привидение.

–Ты что делаешь? – спрашиваю.

–То есть как это – что я делаю? Хотел уснуть, а вы, черти, подняли тарарам. Из-за чего вы дрались?

–Где тут свет? – Я никак не мог найти выключатель. Шарил по всей стене – ну никак.

–А зачем тебе свет?.. Ты руку держишь у выключателя.

Я нашел выключатель и зажег свет. Экли заслонил лицо рукой, чтоб свет не резал ему глаза.

–О ч-черт! – сказал он. – Что с тобой? – Он увидел на мне кровь.

–Поцапались немножко со Стрэдлейтером, – говорю. Потом сел на пол. Никогда у них в комнате не было стульев. Не знаю, что они с ними делали.

–Слушай, хочешь, сыграем разок в канасту\*? – говорю.

\* Канаста –карточная игра двумя полными колодами, ставшая популярной в США в послевоенные годы.

Он страшно увлекался канастой.

–Да у тебя до сих пор кровь идет! Ты бы приложил что-нибудь.

–Само пройдет. Ну как, сыграем в канасту или нет?

–С ума сошел – канаста! Да ты знаешь, который час?

–Еще не поздно. Часов одиннадцать, полдвенадцатого!

–Это, по-твоему, не поздно? – говорит Экли. – Слушай, мне завтра вставать рано, я в церковь иду, черт подери! А вы, дьяволы, подняли бучу среди ночи. Хоть скажи, из-за чего вы подрались?

–Долго рассказывать. Тебе будет скучно слушать, Экли. Видишь, как я о тебе забочусь! – Я с ним никогда не говорил о своих личных делах. Во-первых, он был еще глупее Стрэдлейтера. Стрэдлейтер по сравнению с ним был настоящий гений. – Знаешь что, – говорю, – можно мне эту ночь спать на кровати Эла? Он до завтрашнего вечера не вернется.

Я знал, что Эл не вернется. Он каждую субботу уезжал домой.

–А черт его знает, когда он вернется, – говорит Экли.

Фу, до чего он мне надоел!

–То есть как это? – говорю. – Ты же знаешь, что он в воскресенье до вечера никогда не приезжает.

–Знаю, но как я могу сказать – спи, пожалуйста, на его кровати! Разве полагается так делать?

Убил! Я протянул руку, все еще сидя на полу, и похлопал его, дурака, по плечу.

–Ты – принц, Экли, детка, – говорю. – Ты знаешь это или нет?

–Нет, правда, не могу же я просто сказать человеку – спи на чужой кровати.

–Ты – настоящий принц. Ты джентльмен и ученый, дитя мое! – сказал я. А может быть, он и был ученый. – У тебя случайно нет сигарет? Если нет – я умру!

–Нет у меня ничего. Слушай, из-за чего началась драка?

Но я ему не ответил. Я только встал и подошел к окну. Мне вдруг стало так тоскливо. Подохнуть хотелось, честное слово.

–Из-за чего же вы подрались? – в который раз спросил Экли. Он мог душу вымотать из человека.

–Из-за тебя, – говорю.

–Что за черт? Как это из-за меня?

–Да, я защищал твою честь. Стрэдлейтер сказал, что ты гнусная личность. Не мог же я ему спустить такую дерзость!

Он как подскочит!

–Нет, ей-богу? Это правда? Он так и сказал?

Но тут я ему объяснил, что шучу, а потом лег на кровать Эла. Ох, до чего же мне было плохо! Такая тоска, ужасно.

–У вас тут воняет, – говорю. – Отсюда слышно, как твои носки воняют. Ты их отдаешь в стирку или нет?

–Не нравится – иди знаешь куда! – сказал Экли. Вот уж ума палата! – Может быть, потушишь свет, черт возьми?

Но я не сразу потушил. Я лежал на чужой кровати и думал про Джейн и про все, что было. Я просто с ума сходил, как только представлял себе ее со Стрэдлейтером в машине этого толстозадого Эда Бэнки. Как подумаю –так хочется выбросится в окошко. Вы-то не знаете Стрэдлейтера, вам ничего, а я его знаю. Все ребята в Пэнси только трепались, что путаются с девчонками, как Экли, например, а вот Стрэдлейтер и вправду путался. Я сам был знаком с двумя девицами, с которыми он путался. Верно говорю.

–Расскажи мне свою биографию, Экли, детка, наверно, это увлекательно! – говорю.

–Да потуши ты этот чертов свет! Мне завтра утром в церковь, понимаешь?

Я встал, потушил свет –раз ему так хочется. Потом опять лег на кровать Эла.

–Ты что – собираешься спать тут? – спросил Экли. Да, радушный хозяин, ничего не скажешь.

–Не знаю. Может быть. Не волнуйся.

–Да я не волнуюсь, только будет ужасно неприятно, если Эл вдруг вернется, а у него на кровати спят…

–Успокойся. Не буду я тут спать. Не бойся, не злоупотреблю твоим гостеприимством.

Минуты через две он уже храпел как оголтелый. А я лежал в темноте и старался не думать про Джейн и Стрэдлейтера в машине этого проклятого Эда Бэнки. Но я не мог не думать. Плохо то, что я знал, какой подход у этого проклятого Стрэдлейтера. Мне от этого становилось еще хуже. Один раз мы с ним оба сидели с девушками в машине того же Эда. Стрэдлейтер со своей девушкой сидел сзади, а я –впереди. Ох, и подход у него был, у этого черта! Он начинал с того, что охмурял свою барышню этаким тихим, нежным, ужасно и с к р е н н и м голосом, как будто он был не только очень красивый малый, но еще и хороший, и с к р е н н и й человек. Меня чуть не стошнило, когда я услышал, как он разговаривает. Девушка все повторяла: «Нет, не надо… Пожалуйста, не надо. Не надо…» Но Стрэдлейтер все уговаривал ее, голос у него был, как у президента Линкольна, ужасно честный, искренний, и вдруг наступила жуткая тишина. Страшно неловко. Не знаю, спутался он в тот раз с этой девушкой или нет. Но к тому шло. Безусловно, шло.

Я лежал и старался не думать и вдруг услышал, что этот дурак Стрэдлейтер вернулся из умывалки в нашу комнату. Слышно было, как он убирает свои поганые мыльницы и щетки и открывает окно. Он обожал свежий воздух. Потом он потушил свет. Он и не взглянул, тут я или нет.

Даже за окном было тоскливо. Ни машин, ничего. Мне стало так одиноко, так плохо, что я решил разбудить Экли.

–Эй, Экли! – сказал я шепотом, чтобы Стрэдлейтер не услыхал.

Но Экли ничего не слышал.

–Эй, Экли!

Он ничего не слышал. Спал как убитый.

–Эй, Экли!

Тут он наконец услыхал.

–Кой черт тебя укусил? – говорит. – Я только что уснул.

–Слушай, как это поступают в монастырь? – спрашиваю я. Мне вдруг вздумалось уйти в монастырь. – Надо быть католиком или нет?

–Конечно, надо. Свинья ты, неужели ты меня только для этого и разбудил?

–Ну ладно, спи! Все равно я в монастырь не уйду. При моем невезении я обязательно попаду не к тем монахам. Наверно, там будут одни кретины. Или просто подонки.

Только я это сказал, как Экли вскочил словно ошпаренный.

–Знаешь что, – можешь болтать про меня что угодно, но если ты начнешь острить насчет моей религии, черт побери…

–Успокойся, – говорю, – никто твою религию не трогает, хрен с ней.

Я встал с чужой кровати, пошел к двери. Не хотелось больше оставаться в этой духоте. Но по дороге я остановился, взял Экли за руку и нарочно торжественно пожал ее. Он выдернул руку.

–Это еще что такое?

–Ничего. Просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты настоящий принц, вот и все! – сказал я, и голос у меня был такой искренний, честный. – Ты молодчина, Экли, детка, – сказал я. – Знаешь, какой ты молодчина?

–Умничай, умничай! Когда-нибудь тебе разобьют башку…

Но я не стал его слушать. Захлопнул дверь и вышел в коридор.

Все спали, а кто уехал домой на воскресенье, и в коридоре было очень-очень тихо и уныло. У дверей комнаты Леги и Гофмана валялась пустая коробка из-под зубной пасты «Колинос», и по дороге на лестницу я ее все время подкидывал носком, на мне были домашние туфли на меху. Сначала я подумал, не пойти ли мне вниз, дай, думаю, посмотрю, как там мой старик, Мэл Броссар. Но вдруг передумал. Вдруг я решил, что мне делать: надо выкатываться из Пэнси сию же минуту. Не ждать никакой среды –и все. Ужасно мне не хотелось тут торчать. Очень уж стало грустно и одиноко. И я решил сделать вот что – снять номер в каком-нибудь отеле в Нью-Йорке, в недорогом, конечно, и спокойно пожить там до среды. А в среду вернуться домой: к среде я отдохну как следует и настроение будет хорошее. Я рассчитал, что мои родители получат письмо от старика Термера насчет того, что меня вытурили, не раньше вторника или среды. Не хотелось возвращаться домой, пока они не получат письмо и не переварят его. Не хотелось смотреть, как они будут читать все это в первый раз. Моя мама сразу впадет в истерику. Потом, когда она переварит, тогда уже ничего. А мне надо было отдохнуть. Нервы у меня стали ни к черту. Честное слово, ни к черту.

Словом, так я и решил. Вернулся к себе в комнату, включил свет, стал укладываться. У меня уже почти все было уложено. А этот Стрэдлейтер и не проснулся. Я закурил, оделся, потом сложил оба свои чемодана. Минуты за две все сложил. Я очень быстро укладываюсь.

Одно меня немножко расстроило, когда я укладывался. Пришлось уложить новые коньки, которые мама прислала мне чуть ли не накануне. Я расстроился, потому что представил себе, как мама пошла в спортивный магазин, стала задавать продавцу миллион чудацких вопросов –а тут меня опять вытурили из школы! Как-то грустно стало. И коньки она купила не те – мне нужны были беговые, а она купила хоккейные, – но все равно мне стало грустно. И всегда так выходит – мне дарят подарки, а меня от этого только тоска берет.

Я все уложил, пересчитал деньги. Не помню, сколько у меня оказалось, но в общем порядочно. Бабушка как раз прислала мне на прошлой неделе перевод. Есть у меня бабушка, она денег не жалеет. У нее, правда, не все дома –ей лет сто, и она посылает мне деньги на день рождения раза четыре в год. Но хоть денег у меня было порядочно, я все-таки решил, что лишний доллар не помешает. Пошел в конец коридора, разбудил Фредерика Удрофа, того самого, которому я одолжил свою машинку. Я его спросил, сколько он мне даст за нее. Он был из богатых. Он говорит – не знаю. Говорит – я не собирался ее покупать. Но все-таки купил. Стоила она что-то около девяноста долларов, а он ее купил за двадцать. Да еще злился, что я его разбудил.

Когда я совсем собрался, взял чемоданы и все, что надо, я остановился около лестницы и на прощание посмотрел на этот наш коридор. Кажется, я всплакнул. Сам не знаю почему. Но потом надел свою охотничью шапку по-своему, задом наперед, и заорал во всю глотку:

–Спокойной ночи, кретины!

Ручаюсь, что я разбудил всех этих ублюдков! Потом побежал вниз по лестнице. Какой-то болван набросал ореховой скорлупы, и я чуть не свернул себе шею ко всем чертям.

8

Вызывать такси оказалось поздно, пришлось идти на станцию пешком. Вокзал был недалеко, но холод стоял собачий, и по снегу идти было трудно, да еще чемоданы стукали по ногам, как нанятые. Но дышать было приятно. Плохо только, что от холодного воздуха саднили нос и верхняя губа –меня по ней двинул Стрэдлейтер. Он мне разбил губу об зубы, это здорово больно. Зато ушам было тепло. На этой моей шапке были наушники, и я их опустил. Плевать мне было, какой у меня вид. Все равно кругом ни души. Все давно храпели.

Мне повезло, когда я пришел на вокзал. Я ждал поезда всего десять минут. Пока ждал, я набрал снегу и вытер лицо. Вообще я люблю ездить поездом, особенно ночью, когда в вагоне светло, а за окном темень и по вагону разносят кофе, сандвичи и журналы. Обычно я беру сандвич с ветчиной и штуки четыре журналов. Когда едешь ночью в вагоне, можно без особого отвращения читать даже идиотские рассказы в журналах. Вы знаете какие. Про всяких показных типов с квадратными челюстями по имени Дэвид и показных красоток, которых зовут Линда или Марсия, они еще всегда зажигают этим Дэвидам их дурацкие трубки. Ночью в вагоне я могу читать даже такую дрянь. Но тут не мог. Почему-то неохота было читать. Я просто сидел и ничего не делал. Только снял свою охотничью шапку и сунул в карман.

И вдруг в Трентоне вошла дама и села рядом со мной. Вагон был почти пустой, время позднее, но она все равно села рядом со мной, а не на пустую скамью, потому что я сидел на переднем месте, а у нее была громадная сумка. И она выставила эту сумку прямо в проход, так что кондуктор или еще кто мог об нее споткнуться. Должно быть, она ехала с какого-нибудь приема или бала –на платье были орхидеи. Лет ей, вероятно, было около сорока – сорока пяти, но она была очень красивая. Я от женщин балдею. Честное слово. Нет, я вовсе не в том смысле, вовсе я не такой бабник, хотя я довольно-таки впечатлительный. Просто они мне нравятся. И вечно они ставят свои дурацкие сумки посреди прохода.

Сидим мы так, и вдруг она говорит:

–Простите, но, кажется, это наклейка школы Пэнси?

Она смотрела наверх, на сетку, где лежали мои чемоданы.

–Да, – говорю я. И правда: у меня на одном чемодане действительно осталась школьная наклейка. Дешевка, ничего не скажешь.

–Ах, значит, вы учитесь в Пэнси? – говорит она. У нее был очень приятный голос. Такой хорошо звучит по телефону. Ей бы возить с собой телефончик.

–Да, я там учусь, – говорю.

–Как приятно! Может быть, вы знаете моего сына? Эрнест Морроу – он тоже учится в Пэнси.

–Знаю. Он в моем классе.

А сын ее был самый что ни на есть последний гад во всей этой мерзкой школе. Всегда он после душа шел по коридору и бил всех мокрым полотенцем. Вот какой гад.

–Ну, как мило! – сказала дама. И так просто, без кривляния. Она была очень приветливая. – Непременно скажу Эрнесту, что я вас встретила. Как ваша фамилия, мой дружок?

–Рудольф Шмит, – говорю. Не хотелось рассказывать ей всю свою биографию. А Рудольф Шмит был старик швейцар в нашем корпусе.

–Нравится вам Пэнси? – спросила она.

–Пэнси? Как вам сказать. Там неплохо. Конечно, это не рай, но там не хуже, чем в других школах. Преподаватели там есть вполне добросовестные.

–Мой Эрнест просто обожает школу!

–Да, это я знаю, – говорю я. И начинаю наворачивать ей все, что полагается: – Он очень легко уживается. Я хочу сказать, что он умеет ладить с людьми.

–Правда? Вы так считаете? – спросила она. Видно, ей было очень интересно.

–Эрнест? Ну конечно! – сказал я. А сам смотрю, как она снимает перчатки. Ну и колец у нее!

–Только что сломала ноготь в такси, – говорит она. Посмотрела на меня и улыбнулась. У нее была удивительно милая улыбка. Очень милая. Люди ведь вообще не улыбаются или улыбаются как-то противно.

–Мы с отцом Эрнеста часто тревожимся за него, – говорит она. – Иногда мне кажется, что он не очень сходится с людьми.

–В каком смысле?

–Видите ли, он очень чуткий мальчик. Он никогда не дружил по– настоящему с другими мальчиками. Может быть, он ко всему относится серьезнее, чем следовало бы в его возрасте.

«Чуткий»! Вот умора! В крышке от унитаза и то больше чуткости, чем в этом самом Эрнесте.

Я посмотрел на нее. С виду она была вовсе не так глупа. С виду можно подумать, что она отлично понимает, какой гад ее сынок. Но тут дело темное –я про матерей вообще. Все матери немножко помешанные. И все-таки мать этого подлого Морроу мне понравилась. Очень славная.

–Не хотите ли сигарету? – спрашиваю.

Она оглядела весь вагон.

–По-моему, это вагон для некурящих, Рудольф! – говорит она. «Рудольф»! Подохнуть можно, честное слово!

–Ничего! Можно покурить, пока на нас не заорут, – говорю.

Она взяла сигаретку, и я ей дал закурить.

Курила она очень мило. Затягивалась, конечно, но как-то не жадно, не то что другие дамы в ее возрасте. Очень она была обаятельная. И как женщина тоже, если говорить правду.

Вдруг она посмотрела на меня очень пристально.

–Кажется, у вас кровь идет носом, дружочек, – говорит она вдруг.

Я кивнул головой, вытащил носовой платок.

–В меня попали снежком, – говорю, – знаете, с ледышкой.

Я бы, наверно, рассказал ей всю правду, только долго было рассказывать. Но она мне очень нравилась. Я даже пожалел, зачем я сказал, что меня зовут Рудольф Шмит.

–Да, ваш Эрни, – говорю, – он у нас в Пэнси общий любимец. Вы это знали?

–Нет, не знала!

Я кивнул головой.

–Мы не сразу в нем разобрались! Он занятный малый. Правда, со странностями – вы меня понимаете? Взять, например, как я с ним познакомился. Когда мы познакомились, мне показалось, что он немного задается. Я так думал сначала. Но он не такой. Просто он очень своеобразный человек, его не сразу узнаешь.

Бедная миссис Морроу ничего не говорила, но вы бы на нее посмотрели! Она так и застыла на месте. С матерями всегда так –им только рассказывай, какие у них великолепные сыновья.

И тут я разошелся вовсю.

–Он вам говорил про выборы? – спрашиваю. – Про выборы в нашем классе?

Она покачала головой. Ей-богу, я ее просто загипнотизировал!

–Понимаете, многие хотели выбрать вашего Эрни старостой класса. Да, все единогласно называли его кандидатуру. Понимаете, никто лучше его не справился бы, – говорю. Ох, и наворачивал же я! – Но выбрали другого – знаете, Гарри Фенсера. И выбрали его только потому что Эрни не позволил выдвинуть его кандидатуру. И все оттого, что он такой скромный, застенчивый, оттого и отказался… Вот до чего он скромный. Вы бы его отучили, честное слово! – Я посмотрел на нее. – Разве он вам не рассказывал?

–Нет, не рассказывал.

Я кивнул.

–Это на него похоже. Да, главный его недостаток, что он слишком скромный, слишком застенчивый. Честное слово, вы бы ему сказали, чтоб он так не стеснялся.

В эту минуту вошел кондуктор проверять билет у миссис Морроу, и мне можно было замолчать. А я рад, что я ей все это навертел. Вообще, конечно, такие типы, как этот Морроу, которые бьют людей мокрым полотенцем, да еще норовят ударить п о б о л ь н е е, такие не только в детстве сволочи, они всю жизнь сволочи. Но я головой ручаюсь, что после моей брехни бедная миссис Морроу будет всегда представлять себе своего сына этаким скромным, застенчивым малым, который даже не позволил нам выдвинуть его кандидатуру. Это вполне возможно. Кто их знает. Матери в таких делах не очень-то разбираются.

–Не угодно ли вам выпить коктейль? – спрашиваю. Мне самому захотелось выпить. – Можно пойти в вагон-ресторан. Пойдемте?

–Но, милый мой – разве вам разрешено заказывать коктейли? – спрашивает она. И ничуть не свысока. Слишком она была славная, чтоб разговаривать свысока.

–Вообще-то не разрешается, но мне подают, потому что я такой высокий, – говорю. – А потом у меня седые волосы. – Я повернул голову и показал, где у меня седые волосы. Она прямо обалдела. – Правда, почему бы вам не выпить со мной? – спрашиваю. Мне очень захотелось с ней выпить.

–Нет, пожалуй, не стоит. Спасибо, дружочек, но лучше не надо, – говорит. – Да и ресторан, пожалуй, уже закрыт. Ведь сейчас очень поздно, вы это знаете?

Она была права. Я совсем забыл, который час.

Тут она посмотрела на меня и спросила о том, чего я боялся:

–Эрнест мне писал, что он вернется домой в среду, что рождественские каникулы начнутся только в среду. Но ведь вас не вызвали домой срочно, надеюсь, у вас никто не болен?

Видно было, что она действительно за меня волнуется, не просто любопытничает, а всерьез беспокоится.

–Нет, дома у нас все здоровы, – говорю. – Дело во мне самом. Мне надо делать операцию.

–Ах, как жалко! – Я видел, что ей в самом деле меня было жалко. А я и сам пожалел, что сморозил такое, но было уже поздно.

–Да ничего серьезного. Просто у меня крохотная опухоль на мозгу.

–Не может быть! – Она от ужаса закрыла рот руками.

–Это ерунда! Опухоль совсем поверхностная. И совсем малюсенькая. Ее за две минуты уберут.

И тут я вытащил из кармана расписание и стал его читать, чтобы прекратить это вранье. Я как начну врать, так часами не могу остановиться. Буквально ч а с а м и.

Больше мы уже почти не разговаривали. Она читала «Вог», а я смотрел в окошко. Вышла она в Ньюарке. На прощание пожелала мне, чтоб операция сошла благополучно, и все такое. И называла меня Рудольфом. А под конец пригласила приехать летом к Эрни в Глостер, в Массачусетсе. Говорит, что их дом прямо на берегу и там есть теннисный корт, но я ее поблагодарил и сказал, что уезжаю с бабушкой в Южную Америку. Это я здорово наврал, потому что наша бабушка даже из дому не выходит, разве что иногда на какой-нибудь утренник. Но я бы все равно не поехал к этому гаду Эрнесту ни за какие деньги, даже если б деваться было некуда.

9

На Пенсильванском вокзале я первым делом пошел в телефонную будку. Хотелось кому-нибудь звякнуть по телефону. Чемоданы я поставил у будки, чтобы их было видно, но, когда я снял трубку, я подумал, что звонить мне некому. Мой брат, Д.Б., был в Голливуде, Фиби, моя сестренка, ложилась спать часов в девять –ей нельзя было звонить. Она бы не рассердилась, если б я ее разбудил, но вся штука в том, что к телефону подошла бы не она. К телефону подошел бы кто-нибудь из родителей. Значит, нельзя. Я хотел позвонить матери Джейн Галлахер, узнать, когда у Джейн начинаются каникулы, но потом мне расхотелось. И вообще было поздно туда звонить. Потом я хотел позвонить этой девочке, с которой я довольно часто встречался, – Салли Хейс, я знал, что у нее уже каникулы, она мне написала это самое письмо, сплошная липа, ужасно длинное, приглашала прийти к ней в сочельник помочь убрать елку. Но я боялся, что к телефону подойдет ее мамаша. Она была знакома с моей матерью, и я представил себе, как она сломя голову хватает трубку и звонит моей матери, что я в Нью-Йорке. Да кроме того, неохота было разговаривать со старухой Хейс по телефону. Она как-то сказала Салли, что я необузданный. Во-первых, необузданный, а во-вторых, что у меня нет цели в жизни. Потом я хотел звякнуть одному типу, с которым мы учились в Хуттонской школе, Карлу Льюсу, но я его недолюбливал. Кончилось тем, что я никому звонить не стал. Минут через двадцать я вышел из автомата, взял чемоданы и пошел через тоннель к стоянке такси.

Я до того рассеянный, что по привычке дал водителю свой домашний адрес. Совсем вылетело из головы, что я решил переждать в гостинице дня два и не появляться дома до начала каникул. Вспомнил я об этом, когда мы уже проехали почти весь парк. Я ему говорю:

–Пожалуйста, поверните обратно, если можно, я вам дал не тот адрес. Мне надо назад, в центр.

Но водитель попался хитрый.

–Не могу, Мак, тут движение одностороннее. Теперь надо ехать до самой Девяностой улицы.

Мне не хотелось спорить.

–Ладно, – говорю. И вдруг вспомнил: – Скажите, вы видали тех уток на озере у Южного выхода в Центральной парке? На маленьком таком прудике? Может, вы случайно знаете, куда они деваются, эти утки, когда пруд замерзает? Может, вы случайно знаете?

Я, конечно, понимал, что это действительно была бы чистая случайность.

Он обернулся и посмотрел на меня, как будто я ненормальный.

–Ты что, братец, – говорит, – смеешься надо мной, что ли?

–Нет, – говорю, – просто мне интересно узнать.

Он больше ничего не сказал, и я тоже. Когда мы выехали из парка у Девяностой улицы, он обернулся:

–Ну, братец, а теперь куда?

–Понимаете, не хочется заезжать в гостиницу на Ист-Сайд, где могут оказаться знакомые. Я путешествую инкогнито, – сказал я. Ненавижу избитые фразы вроде «путешествую инкогнито». Но с дураками иначе разговаривать не приходится. – Не знаете ли вы случайно, какой оркестр играет у Тафта или в «Нью-Йоркере»?

–Понятия не имею, Мак.

–Ладно, везите меня в «Эдмонт», – говорю. – Может быть, вы не откажетесь по дороге выпить со мной коктейль? Я угощаю. У меня денег куча.

–Нельзя, Мак. Извините.

Да, веселый спутник, нечего сказать. Выдающаяся личность.

Мы приехали в «Эдмонт», и я взял номер. В такси я надел свою красную охотничью шапку просто ради шутки, но в вестибюле я ее снял, чтобы не приняли за психа. Смешно подумать: я тогда не знал, что в этом подлом отеле полным-полно всяких психов. Форменный сумасшедший дом.

Мне дали ужасно унылый номер, он тоску нагонял. Из окна ничего не было видно, кроме заднего фасада гостиницы. Но мне было все равно. Когда настроение скверное, не все ли равно, что там за окошком. Меня провел в номер коридорный –старый-престарый, лет под семьдесят. Он на меня нагонял тоску еще больше, чем этот номер. Бывают такие лысые, которые зачесывают волосы сбоку, чтобы прикрыть лысину. А я бы лучше ходил лысый, чем так причесываться. Вообще, что за работа для такого старика – носить чужие чемоданы и ждать чаевых? Наверно, он ни на что больше не годился, но все-таки это было ужасно.

Когда он ушел, я стал смотреть в окошко, не снимая пальто. Все равно делать было нечего. Вы даже не представляете, что творилось в корпусе напротив. Там даже не потрудились опустить занавески. Я видел, как один тип, седой, приличный господин, в одних трусах вытворял такое, что вы не поверите, если я вам расскажу. Сначала он поставил чемодан на кровать. А потом вынул оттуда женскую одежду и надел на себя. Настоящую женскую одежду –шелковые чулки, туфли на каблуках, бюстгальтер и такой пояс, на котором болтаются резинки. Потом надел узкое черное платье, вечернее платье, клянусь богом! А потом стал ходить по комнате маленькими шажками, как женщины ходят, и курить сигарету и смотреться в зеркало. Он был совсем один. Если только никого не было в ванной – этого я не видел. А в окошке, прямо над ним, я видел, как мужчина и женщина брызгали друг в друга водой изо рта. Может, и не водой, а коктейлем, я не видел, что у них в стаканах. Сначала он наберет полный рот и как фыркнет на нее! А потом она на него, по очереди, черт их дери! Вы бы на них посмотрели! Хохочут до истерики, как будто ничего смешнее не видали. Я не шучу, в гостинице было полно психов. Я, наверно, был единственным нормальным среди них, а это не так уж много. Чуть не послал телеграмму Стрэдлейтеру, чтоб он первым же поездом выезжал в Нью-Йорк. Он бы тут был королем, в этом отеле.

Плохо то, что на такую пошлятину смотришь не отрываясь, даже когда не хочешь. А эта девица, которой брызгали водой в физиономию, она даже была хорошенькая. Вот в чем мое несчастье. В душе я, наверно, страшный распутник. Иногда я представляю себе ужасные г а д о с т и, и я мог бы даже сам их делать, если б представился случай. Мне даже иногда кажется, что, может быть, это даже приятно, хоть и гадко. Например, я даже понимаю, что, может быть, занятно, если вы оба пьяны, взять девчонку и с ней плевать друг дружке в физиономию водой или там коктейлем. Но, по правде говоря, мне это н и ч у т ь не нравится. Если разобраться, так это просто пошлятина. По-моему, если тебе нравится девушка, так нечего с ней валять дурака, а если она тебе нравится, так нравится и ее лицо, а тогда не станешь безобразничать и плевать в нее чем попало. Плохо то, что иногда всякие глупости доставляют удовольствие. А сами девчонки тоже хороши –только мешают, когда стараешься не позволять себе никаких глупостей, чтобы не испортить что-то по-настоящему хорошее. Была у меня одна знакомая девчонка года два назад, она была еще хуже меня. Ох, и дрянь же! И все-таки нам иногда бывало занятно, хоть и гадко. Вообще я в этих сексуальных делах плохо разбираюсь. Никогда не знаешь, что к чему. Я сам себе придумываю правила поведения и тут же их нарушаю. В прошлом году я поставил себе правило, что не буду возиться с девчонками, от которых меня мутит. И сам же нарушил это правило – в ту же неделю, даже в тот же вечер, по правде говоря. Целый вечер целовался с ужасной кривлякой – звали ее Анна Луиза Шерман. Нет, не понимаю я толком про всякий секс. Честное слово, не понимаю.

Я стоял у окна и придумывал, как бы позвонить Джейн. Звякнуть ей по междугородному прямо в колледж, где она училась, вместо того чтобы звонить ее матери и спрашивать, когда она приедет? Конечно, не разрешается звонить студенткам поздно ночью, но я уже все придумал. Если подойдут к телефону, я скажу, что я ее дядя. Я скажу, что ее тетя только что разбилась насмерть в машине и я немедленно должен переговорить с Джейн. Наверно, ее позвали бы. Не позвонил я только потому, что настроения не было. А когда настроения нет, все равно ничего не выйдет.

Потом я сел в кресло и выкурил две сигареты. Чувствовал я себя препаршиво, сознаюсь. И вдруг я придумал. Я стал рыться в бумажнике –искать адрес, который мне дал один малый, он учился в Принстоне, я с ним познакомился летом на вечеринке. Наконец я нашел записку. Она порядком измялась в моем бумажнике, но разобрать было можно. Это был адрес одной особы, не то чтобы настоящей шлюхи, но, как говорил этот малый из Принстона, она иногда и не отказывала. Однажды он привел ее на танцы в Принстон, и его чуть за это не вытурили. Она танцевала в кабаре с раздеванием или что-то в этом роде. Словом, я взял трубку и позвонил ей. Звали ее Фей Кэвендиш, и жила она в отеле «Стэнфорд», на углу Шестьдесят шестой и Бродвея. Наверно, какая-нибудь трущоба.

Сначала я решил, что ее нет дома. Никто не отвечал. Потом взял трубку.

–Алло! – сказал я. Я говорил басом, чтобы она не заподозрила, сколько мне лет. Но вообще голос у меня довольно низкий.

–Алло! – сказал женский голос не очень-то приветливо.

–Это мисс Фей Кэвендиш?

–Да, кто это? – спросила она. – Кто это звонит мне среди ночи, черт возьми!

Я немножко испугался.

–Да, я понимаю, что сейчас поздно, – сказал я взрослым голосом. – Надеюсь, вы меня простите, но мне просто необходимо было поговорить с вами! – И все это таким светским тоном, честное слово!

–Да кто же это? – спрашивает она.

–Вы меня не знаете, но я друг Эдди Бердселла. Он сказал, что, если окажусь в городе, мы с вами непременно должны встретиться и выпить коктейль вдвоем.

–Кто сказал? Чей вы друг? – Ну и тигрица, ей-богу! Она просто о р а л а на меня по телефону.

–Эдмунда Бердселла, Эдди Бердселла, – повторил я. Я не помнил, как его звали – Эдмунд или Эдвард. Я его только раз видел на какой-то идиотской вечеринке.

–Не знаю я такого, Джек! И если, по-вашему, мне приятно вскакивать ночью…

–Эдди Бердселл, из Принстона… Помните? – говорил я.

Слышно было, как она повторяет фамилию.

–Бердселл… Бердселл… Из Принстонского колледжа?

–Да-да! – сказал я.

–А вы тоже оттуда?

–Примерно.

–Ага… А как Эдди? – сказала она. – Все-таки безобразие звонить в такое время!

–Он ничего. Просил передать вам привет.

–Ну спасибо, передайте и ему привет, – сказала она. – Он чудный мальчик. Что он сейчас делает? – Она уже становилась все любезнее, черт ее дери.

–Ну, все то же, сами понимаете, – сказал я. Каким чертом я мог знать, что он там делает? Я почти не был с ним знаком. Я даже не знал, учится ли он еще в Принстоне или нет. – Слушайте, – говорю я, – Может быть, мы с вами встретимся сейчас, выпьем коктейль?

–Да вы представляете себе, который час? – сказала она. – И разрешите спросить, как ваше имя? – Она вдруг заговорила с английским акцентом. – Голос у вас что-то очень молодой.

–Благодарю вас за комплимент! – говорю я самым светским тоном. – Меня зовут Холден Колфилд. – Надо было выдумать другую фамилию, но я сразу не сообразил.

–Видите ли, мистер Коффл, я не привыкла назначать свидания по ночам. Я ведь работаю.

–Завтра воскресенье, – говорю.

–Все равно мне надо хорошенько выспаться. Сами понимаете.

–А я думал, мы с вами выпьем хоть один коктейль! И сейчас совсем не так поздно.

–Вы очень милы, право, – говорит она. – Откуда вы говорите? Где вы сейчас?

–Я? Я из автомата.

–Ах, так, – сказала она. Потом долго молчала. – Знаете, я очень рада буду с вами встретиться, мистер Коффл. По голосу вы очень милый человек. У вас удивительно симпатичный голос. Но сейчас все-таки слишком поздно.

–Я могу приехать к вам.

–Что ж, в другое время я сказала бы – чудно! Но моя соседка заболела. Она весь вечер лежала, не могла заснуть. Она только что закрыла глаза, спит. Вы понимаете?

–Да, это плохо.

–Где вы остановились? Может быть, мы завтра встретимся?

–Нет, завтра я не могу. Я только сегодня свободен.

Ну и дурак! Не надо было так говорить.

–Что ж, очень жаль!

–Передам от вас привет Эдди.

–Правда, передадите? Надеюсь, вам будет весело в Нью-Йорке. Чудный город.

–Это я знаю. Спасибо. Спокойной ночи, – сказал я и повесил трубку.

Дурак, сам все испортил. Надо было хоть условиться на завтра, угостить ее коктейлем, что ли.

10

Было еще довольно рано. Не знаю точно, который час, но, в общем, не так уж поздно. Больше всего я ненавижу ложиться спать, когда ничуть не устал. Я открыл чемодан, вынул чистую рубашку, пошел в ванную, вымылся и переоделся. Пойду, думаю, посмотрю, что у них там творится в «Сиреневом зале». При гостинице был ночной клуб, назывался «Сиреневый зал».

Пока я переодевался, я подумал, не позвонить ли все-таки моей сестренке Фиби. Ужасно хотелось с ней поговорить. Она-то все понимала. Но нельзя было рисковать звонить домой, все-таки она еще маленькая и, наверно, уже спала и не подошла бы к телефону. Конечно, можно было бы повесить трубку, если б подошли родители, но все равно ничего бы не вышло. Они узнали бы меня. Мама всегда догадывается. У нее интуиция. Но мне ужасно хотелось поболтать с нашей Фиби.

Вы бы на нее посмотрели. Такой хорошенькой, умной девчонки вы, наверно, никогда не видели. Умница, честное слово. Понимаете, с тех пор как она поступила в школу, у нее отличные отметки –никогда плохих не бывало. По правде говоря, я один в семье такой тупица. Старший мой брат, Д.Б., писатель, а мой братишка Алли, который умер, тот прямо был колдун. Я один такой тупой. А посмотрели бы вы на Фиби. У нее волосы почти такие же рыжие, как у Алли, летом они совсем коротенькие. Летом она их закладывает за уши. Ушки у нее маленькие, красивые. А зимой ей отпускают волосы. Иногда мама их заплетает, иногда нет, и все равно красиво. Ей всего десять лет. Она худая вроде меня, но очень складная. Худенькая, как раз для коньков. Один раз я смотрел в окно, как она переходила через улицу в парк, и подумал – как раз для коньков, тоненькая, легкая. Вам бы она понравилась. Понимаете, ей что-нибудь скажешь, и она сразу соображает, про что ты говоришь. Ее даже можно брать с собой куда угодно. Например, поведешь ее на плохую картину – она сразу понимает, что картина плохая. А поведешь на хорошую – она сразу понимает, что картина хорошая. Мы с Д.Б. один раз повели ее на эту французскую картину – «Жена пекаря», – там играет Раймю. Она просто обалдела. Но любимый ее фильм – «Тридцать девять ступеней», с Робертом Донатом. Она всю эту картину знает чуть не наизусть, мы вместе смотрели ее раз десять. Например, когда этот самый Донат прячется на шотландской ферме от полисменов, Фиби громко говорит в один голос с этим шотландцем: «Вы едите селедку?» Весь диалог знает наизусть. А когда этот профессор, который на самом деле немецкий шпион, подымает мизинец, на котором не хватает сустава, и показывает Роберту Донату, наша Фиби еще раньше, чем он, в темноте подымает свой мизинец и тычет прямо мне в лицо. Она ничего. Вам бы она понравилась. Правда, она немножко слишком привязчива. Чересчур все переживает, не по-детски. Это правда. А потом она все время пишет книжки. Только она их никогда не подписывает. Там все про девочку по имени Гизела Уэзерфилд, только наша Фиби пишет «Кисела». Эта самая Кисела Уэзерфилд – девушка-сыщик. Она как будто сирота, но откуда-то появляется ее отец. А отец у нее «высокий привлекательный джентльмен лет двадцати». Обалдеть можно! Да, наша Фиби. Честное слово, она бы вам понравилась. Она была еще совсем крошка, а уже умная. Когда она была совсем-совсем маленькая, мы с Алли водили ее в парк, особенно по воскресеньям. У Алли была парусная лодка, он любил ее пускать по воскресеньям, и мы всегда брали с собой нашу Фиби. А она наденет белые перчатки и идет между нами, как настоящая леди. Когда мы с Алли про что– нибудь говорили, она всегда слушала. Иногда мы про нее забудем, все-таки она была совсем маленькая, но она непременно о себе напомнит. Все время вмешивалась. Толкнет меня или Алли и спросит: «А кто? Кто сказал – Бобби или она?» И мы ей ответим, кто сказал, она скажет: «А-а-а!» – и опять слушает, как большая. Алли от нее тоже балдел. Я хочу сказать, он ее тоже любил. Теперь ей уже десять, она не такая маленькая, но все равно от нее все балдеют – кто понимает, конечно.

Во всяком случае, мне очень хотелось поговорить с ней по телефону. Но я боялся, что подойдут родители и узнают, что я в Нью-Йорке и что меня вытурили из школы. Так что я только надел чистую рубашку, а когда переоделся, спустился в лифте в холл посмотреть, что там делается.

Но там почти никого не было, кроме каких-то сутенеристых типов и шлюховатых блондинок. Слышно было, как в «Сиреневом зале» играет оркестр, и я пошел туда. И хотя там было пусто, мне дали дрянной стол –где-то на задворках. Надо было сунуть официанту доллар. В Нью-Йорке за деньги все можно, это я знаю.

Оркестр был гнусный, Бадди Сингера. Ужасно громкий –но не по– хорошему громкий, а безобразно громкий. И в зале было совсем мало моих сверстников. По правде говоря, там их и вовсе не было – все больше какие-то расфуфыренные старикашки со своими дамами. И только за соседним столиком посетители были совсем другие. За соседним столиком сидели три девицы лет под тридцать. Все три были довольно уродливые, и по их шляпкам сразу было видно, что они приезжие. Но одна, блондинка, была не так уж плоха. Что-то в ней было забавное, но, только я стал на нее поглядывать, подошел официант. Я заказал виски с содовой, но велел не разбавлять – говорил я нарочно быстро, а то, когда мнешься и мямлишь, можно подумать, что ты несовершеннолетний, и тогда тебе спиртного не дадут. И все равно он стал придираться.

–Простите, сэр, – говорит, – но нет ли у вас какого-нибудь удостоверения, что вы совершеннолетний? Может быть, у вас при себе шоферские права?

Я посмотрел на него ледяным взглядом, как будто он меня смертельно оскорбил, и говорю:

–Разве я похож на несовершеннолетнего?

–Простите, сэр, но у нас есть распоряжение…

–Ладно, ладно, – говорю, а сам думаю: «Ну его к черту!» – Дайте мне кока-колы.

Он стал уходить, но я его позвал:

–Вы не можете подбавить капельку рома? – Я его попросил очень вежливо, ласково. – Как я могу сидеть в таком месте трезвый? Вы не можете подбавить хоть капельку рома?

–Простите, сэр, никак нельзя! – И ушел. Но он не виноват. Он может потерять работу, если подаст спиртное несовершеннолетнему. А я, к несчастью, несовершеннолетний.

Опять я стал посматривать на этих ведьм за соседним столиком. Вернее, на блондинку. Те две были страшные, как смертный грех. Но я не глазел как дурак. Наоборот, я их окинул равнодушным взором. И что же, по-вашему, они сделали? Стали хихикать как идиотки! Наверно, решили, что я слишком молод, чтобы строить глазки. Мне стало ужасно досадно –жениться я хочу на них, что ли? Надо было бы обдать их презрением, но мне страшно хотелось танцевать. Иногда мне ужасно хочется потанцевать – и тут захотелось. Я наклонился к ним и говорю:

–Девушки, не хотите ли потанцевать? – Вежливо спросил, очень светским тоном. А они, дуры, всполошились. И опять захихикали. Честное слово, форменные идиотки. – Пойдемте потанцуем! – говорю. – Давайте по очереди. Ну как? Потанцуем? – Ужасно мне хотелось танцевать.

В конце концов блондинка встала, видно, поняла, что я обращаюсь главным образом к ней. Мы вышли на площадку. А те две чучелы закатились как в истерике. С такими только с горя свяжешься.

Но игра стоила свеч. Как эта блондинка танцевала! Лучшей танцорки я в жизни не встречал. Знаете, иногда она –дура, а танцует, как бог. А бывает, что умная девчонка либо сама норовит тебя вести, либо так плохо танцует, что только и остается сидеть с ней за столиком и напиваться.

–Вы здорово танцуете! – говорю я блондинке. – Вам надо бы стать профессиональной танцоркой. Честное слово! Я как-то раз танцевал с профессионалкой, но вы во сто раз лучше. Слыхали про Марко и Миранду?

–Что? – Она даже не слушала меня. Все время озиралась.

–Я спросил, вы слыхали про Марко и Миранду?

–Не знаю. Нет. Не слыхала.

–Они танцоры. Она танцовщица. Не очень хорошая. То есть она делает что полагается, и все-таки это не очень здорово. Знаете, как почувствовать, что твоя дама здорово танцует?

–Чего это? – переспросила она. Она совершенно меня не слушала, внимания не обращала.

–Я говорю, знаете, как почувствовать, что дама здорово танцует?

–Ага…

–Видите, я держу руку у вас на спине. Так вот, если забываешь, что у тебя под рукой и где у твоей дамы ноги, руки и все вообще, значит, она здорово танцует!

Она и не слыхала, что я говорю. Я решил замолчать. Мы просто танцевали –и все. Ох, как эта дура танцевала! Бадди Сингер и его дрянной оркестр играли «Есть лишь одно на свете…» – и даже они не смогли испортить эту вещь. Танцевал я просто, без фокусов – ненавижу, когда вытворяют всякие фокусы во время танцев, – но я ее совсем закружил, и она слушалась отлично. Я-то по глупости думал, что ей тоже приятно танцевать, и вдруг она стала пороть какую-то чушь.

–Знаете, мы с подругами вчера вечером видели Питера Лорре, – говорит. – Киноактера. Живого! Он покупал газету. Такой хорошенький!

–Вам повезло, – говорю, – да, вам крупно повезло. Вы это понимаете? – Настоящая идиотка. Но как танцует! Я не удержался и поцеловал ее в макушку, эту дуру, прямо в пробор. А она обиделась!

–Это еще что такое?

–Ничего. Просто так. Вы здорово танцуете, – сказал я. – У меня есть сестренка, она, чертенок, только в четвертом классе. Вы не хуже ее танцуете, а уж она танцует – чертям тошно!

–Пожалуйста, не выражайтесь!

Тоже мне леди! Королева, черт побери!

–Откуда вы приехали? – спрашиваю. Не отвечает. Глазеет во все стороны – видно, ждет, что явится сам Питер Лорре.

–Откуда вы приехали? – повторяю.

–Чего?

–Откуда вы все приехали! Вы не отвечайте, если вам не хочется. Не утруждайтесь, прошу вас!

–Из Сиэтла, штат Вашингтон, – говорит. Снизошла, сделала мне одолжение!

–Вы отличная собеседница, – говорю. – Вам это известно?

–Чего это?

Я не стал повторять. Все равно до нее не доходит.

–Хотите станцевать джиттербаг, если будет быстрая музыка? Настоящий честный джиттербаг, без глупостей – не скакать, а просто потанцевать. Если сыграют быструю, все сядут, кроме старичков и толстячков, нам места хватит. Ладно?

–Да мне все одно, – говорит. – Слушьте, а сколько вам лет?

Мне вдруг стало досадно.

–О черт, зачем все портить? – говорю. – Мне уже двенадцать. Я только дьявольски большого роста.

–Слушьте, я вас просила не чертыхаться. Ежели будете чертыхаться, я могу уйти к своим подругам, поняли?

Я стал извиняться как сумасшедший, оттого что оркестр заиграл быстрый танец. Она пошла со мной танцевать джиттербаг –очень пристойно, легко. Здорово она танцевала, честное слово. Слушалась – чуть дотронешься. А когда она крутилась, у нее так мило вертелся задик, просто прелесть. Здорово, ей-богу. Я чуть в нее не влюбился, пока мы танцевали. Беда мне с этими девчонками. Иногда на нее и смотреть не хочется, видишь, что она дура дурой, но стоит ей сделать что-нибудь мило, я уже влюбляюсь. Ох эти девчонки, черт бы их подрал. С ума могут свести.

Меня не пригласили сесть к их столику –от невоспитанности, конечно, а я все-таки сел. Блондинку, с которой я танцевал, звали Бернис Крабс или Кребс. А тех, некрасивых, звали Марти и Лаверн. Я сказал, что меня зовут Джим Стил, нарочно сказал. Попробовал я завести с ними умный разговор, но это оказалось невозможным. Их и силком нельзя было бы заставить говорить. Одна глупее другой. И все время озираются, как будто ждут, что сейчас в зал ввалится толпа кинозвезд. Они, наверно, думали, что кинозвезды, когда приезжают в Нью-Йорк, все вечера торчат в «Сиреневом зале», а не в «Эль-Марокко» или в «Сторк-клубе». Еле-еле добился, где они работают в своем Сиэтле. Оказывается, все три работали в одном страховом обществе. Я спросил, нравится ли им их работа, но разве от этих дур можно было чего-нибудь добиться? Я думал, что эти две уродины, Марти и Лаверн, – сестры, но они ужасно обиделись, когда я их спросил. Понятно, что каждая не хотела быть похожей на другую, это законно, но все-таки меня смех разбирал.

Я со всеми тремя перетанцевал по очереди. Одна уродина, Лаверн, не так уж плохо танцевала, но вторая, Марти, –убийственно. С ней танцевать все равно что таскать по залу статую Свободы. Надо было что-то придумать, чтоб не так скучно было таскать ее. И я ей сказал, что Гэри Купер, киноартист, идет вон там по залу.

–Где, где? – Она страшно заволновалась. – Где он?

–Эх, прозевали! Он только что вышел. Почему вы сразу не посмотрели, когда я сказал?

Она даже остановилась и стала смотреть через головы, не видно ли его.

–Да где же он? – говорит. Она чуть не плакала, вот что я наделал. Мне ужасно стало жалко – зачем я ее надул. Есть люди, которых нельзя обманывать, хоть они того и стоят.

А смешнее всего было, когда мы вернулись к столику. Марти сказала, что Гэри Купер был здесь. Те две –Лаверн и Бернис – чуть не покончили с собой, когда услыхали. Расстроились, спрашивают Марти, видела ли она его. А Марти говорит – да, только мельком. Вот дурища!

Бар закрывался, и я им заказал по две порции спиртного на брата, а себе две кока-колы. Весь их стол был заставлен стаканами. Одна уродина, Лаверн, все дразнила меня, что я пью только кока-колу. Блестящий юмор. Она и Марти пили прохладительное –в декабре, черт меня возьми! Ничего они не понимали. А блондинка Бернис дула виски с содовой. Пила как лошадь. И все три то и дело озирались – искали киноартистов. Они даже друг с другом не разговаривали. Эта Марти еще говорила больше других. И все время несла какую-то унылую пошлятину, например, уборную называла «одно местечко», а старого облезлого кларнетиста из оркестра называла «душкой», особенно когда он встал и пропищал что-то невнятное. А кларнет назвала «дудочкой». Ужасная пошлячка. А вторая уродина, Лаверн, воображала, что она страшно остроумная. Все просила меня позвонить моему папе и спросить, свободен ли он сегодня вечером. Все спрашивала – не ушел ли мой папа на свидание. Ч е т ы р е раза спросила – удивительно остроумно. А Бернис, блондинка, все молчала. Спросишь ее о чем-нибудь, она только переспрашивает: «Чего это?» Просто на нервы действует.

И вдруг они все три допили и встали, говорят –пора спать. Говорят, им завтра рано вставать, они идут на первый сеанс в Радио-сити, в мюзик-холл. Я просил их посидеть немножко, но они не захотели. Пришлось попрощаться. Я им сказал, что отыщу их в Сиэтле, если туда попаду. Но вряд ли! То есть вряд ли я их стану искать.

За все вместе с сигаретами подали счет почти на тринадцать долларов. По-моему, они могли хотя бы сказать, что сами заплатят за все, что они выпили до того, как я к ним подсел. Я бы, разумеется, не разрешил им платить, но предложить они могли бы. Впрочем, это ерунда. Уж очень они были глупы, да еще эти жалкие накрученные шляпки. У меня настроение испортилось, когда я подумал, что они хотят рано встать, чтобы попасть на первый сеанс в Радио-сити. Только представить себе, что такая вот особа в ужасающей шляпке приехала в Нью-Йорк бог знает откуда –из какого-нибудь Сиэтла – только для того, чтобы встать чуть свет и пойти смотреть дурацкую программу в Радио-сити, и от этого так скверно становится на душе, просто вынести невозможно. Я бы им всем троим заказал по с т о рюмок, только бы они мне этого не говорили.

После них я сразу ушел из «Сиреневого зала». Все равно он закрывался и оркестр давно перестал играть. Во-первых, в таких местах скучно сидеть, если не с кем танцевать, а во-вторых, официант не подает ничего, кроме кока-колы. Нет такого кабака на свете, где можно долго высидеть, если нельзя заказать спиртного и напиться. Или если с тобой нет девчонки, от которой ты по-настоящему балдеешь.

11

Вдруг, выходя из холла, я опять вспомнил про Джейн Галлахер. Вспомнил –и уже не мог выкинуть ее из головы. Я уселся в какое-то поганое кресло в холле и стал думать, как она сидела со Стрэдлейтером в машине этого подлого Эда Бэнки, и, хотя я был совершенно уверен, что между ними ничего не было, – я-то знаю Джейн насквозь, – все-таки я никак не мог выбросить ее из головы. А я знал ее насквозь, честное слово! Понимаете, она не только умела играть в шашки, она любила всякий спорт, и, когда мы с ней познакомились, мы все лето каждое утро играли в теннис, а после обеда – в гольф. Я с ней очень близко сошелся. Не в физическом смысле, конечно, – ничего подобного, а просто мы все время были вместе. И вовсе не надо ухаживать за девчонкой, для того чтобы с ней подружиться.

А познакомился я с ней, потому что их доберман-пинчер всегда бегал в наш палисадник и там гадил, а мою мать это страшно раздражало. Она позвонила матери Джейн и подняла страшный хай. Моя мама умеет поднимать хай из-за таких вещей. А потом случилось так, что через несколько дней я увидел Джейн около бассейна нашего клуба, она лежала на животе, и я с ней поздоровался. Я знал, что она живет рядом с нами, но я никогда с ней не разговаривал. Но сначала, когда я с ней поздоровался, она меня просто обдала холодом. Я из кожи лез, доказывал ей, что мне-то в высшей степени наплевать, где ее собака гадит. Пусть хоть в гостиную бегает, мне все равно. В общем, после этого мы с Джейн очень подружились. Я в тот же день играл с ней в гольф. Как сейчас помню, она потеряла восемь мячей. Да, восемь! Я просто с ней замучился, пока научил ее хотя бы открывать глаза, когда бьешь по мячу. Но я ее здорово натренировал. Я очень хорошо играю в гольф. Если бы я сказал вам, во сколько кругов я кончаю игру, вы бы не поверили. Меня раз чуть не сняли для короткометражки, только я в последнюю минуту передумал. Я подумал, что если так ненавидеть кино, как я его ненавижу, так нечего выставляться напоказ и давать себя снимать для короткометражки.

Смешная она была девчонка, эта Джейн. Я бы не сказал, что она была красавица. А мне она нравилась. Такая большеротая. Особенно когда она из-за чего-нибудь волновалась и начинала говорить, у нее рот так и ходил ходуном. Я просто балдел. И она никогда его не закрывала как следует, всегда он был у нее приоткрыт, особенно когда она играла в гольф или читала книжки. Вечно она читала, и все хорошие книжки. Особенно стихи. Кроме моих родных, я ей одной показывал рукавицу Алли, всю исписанную стихами. Она не знала Алли, потому что только первое лето проводила в Мейне –до этого она ездила на мыс Код, но я ей много чего рассказывал про него. Ей было интересно, она любила про него слушать.

Моей маме она не очень нравилась. Дело в том, что маме казалось, будто Джейн и ее мать относятся к ней свысока, оттого что они не всегда с ней здоровались. Мама их часто встречала в поселке, потому что Джейн ездила со своей матерью на рынок в их машине. Моей маме Джейн даже не казалась хорошенькой. А мне казалась. Мне нравилось, как она выглядит, и все.

Особенно я помню один день. Это был единственный раз, когда мы с Джейн поцеловались, да и то не по-настоящему. Была суббота, и дождь лил как из ведра, а я сидел у них на веранде –у них была огромная застекленная веранда. Мы играли в шашки. Иногда я ее поддразнивал за то, что она не выводила дамки из последнего ряда. Но я ее не очень дразнил. Ее как-то дразнить не хотелось. Я-то ужасно люблю дразнить девчонок до слез, когда случай подвернется, но смешно вот что: когда мне девчонка всерьез нравится, совершенно не хочется ее дразнить. Иногда я думаю, что ей хочется, чтобы ее подразнили, я даже наверняка знаю, что хочется, но если ты с ней давно знаком и никогда ее не дразнил, то как-то трудно начать ее изводить. Так вот, я начал рассказывать про тот день, когда мы с Джейн поцеловались. Дождь лил как оголтелый, мы сидели у них на веранде, и вдруг этот пропойца, муж ее матери, вышел на веранду и спросил у Джейн, есть ли сигареты в доме. Я его мало знал, но он из тех, кто будет с тобой разговаривать, только если ему что-нибудь от тебя нужно. Отвратительный тип. А Джейн даже не ответила ему, когда он спросил, если ли в доме сигареты. Он опять спросил, а она опять не ответила. Она даже глаз не подняла от доски. Потом он ушел в дом. А когда он ушел, я спросил Джейн, в чем дело. Она и мне не стала отвечать. Сделала вид, что обдумывает ход. И вдруг на доску капнула слеза. Прямо на красное поле, черт, я как сейчас вижу. А Джейн только размазала слезу пальцем по красному полю, и все. Не знаю почему, но я ужасно расстроился. Встал, подошел к ней и заставил ее потесниться, чтобы сесть с ней рядом, я чуть ли не на колени к ней уселся. И тут она расплакалась по-настоящему – и, прежде чем я мог сообразить, я уже целовал ее куда попало: в глаза, лоб, в нос, в брови, даже в уши. Только в губы не поцеловал, она как-то все время отводила губы. Во всяком случае, больше, чем в тот раз, мы никогда не целовались. Потом она встала, пошла в комнату и надела свой свитер, красный с белым, от которого я просто обалдел, и мы пошли в какое-то дрянное кино.

По дороге я ее спросил, не пристает ли к ней этот мистер Кюдехи –этот самый пьяница. Хотя она была еще маленькая, но фигура у нее была чудесная, и вообще я бы за эту сволочь, этого Кюдехи, не поручился. Она сказала – нет. Так я и не узнал, из-за чего она ревела.

Вы только не подумайте, что она была какая-нибудь ледышка, оттого что мы никогда не целовались и не обнимались. Вовсе нет. Например, мы с ней всегда держались за руки. Я понимаю, это не в счет, но с ней замечательно было держаться за руки. Когда с другими девчонками держишься за руки, у них рука как м е р т в а я, или они все время вертят рукой, будто боятся, что иначе тебе надоест. А Джейн была совсем другая. Придем с ней в какое-нибудь кино и сразу возьмемся за руки и не разнимаем рук, пока картина не кончится. И даже не думаем ни о чем, не шелохнемся. С Джейн я никогда не беспокоился, потеет у меня ладонь или нет. Просто с ней было хорошо. Удивительно хорошо.

И еще я вспомнил одну штуку. Один раз в кино Джейн сделала такую вещь, что я просто обалдел. Шла кинохроника или еще что-то, и вдруг я почувствовал, что меня кто-то гладит по голове, оказалось –Джейн. Удивительно странно все-таки. Ведь она была еще маленькая, а обычно женщины гладят кого-нибудь по голове, когда им уже лет тридцать, и гладят они своего мужа или ребенка. Я иногда глажу свою сестренку по голове – редко, конечно. А тут она, сама еще маленькая, и вдруг гладит тебя по голове. И это у нее до того мило вышло, что я просто очумел.

Словом, про все это я и думал –сидел в этом поганом кресле в холле и думал. Да, Джейн. Как вспомню, что она сидела с этим подлым Стрэдлейтером в этой чертовой машине, так схожу с ума. Знаю, она ему ничего такого не позволила, но все равно я с ума сходил. По правде говоря, мне даже вспоминать об этом не хочется.

В холле уже почти никого не было. Даже все шлюховатые блондинки куда-то исчезли. Мне страшно хотелось убраться отсюда к чертям. Тоска ужасная. И я совсем не устал. Я пошел к себе в номер, надел пальто. Выглянул в окно посмотреть, что делают все эти психи, но света нигде не было. Я опять спустился в лифте, взял такси и велел везти себя к Эрни. Это такой ночной кабак в Гринич-Вилледж. Мой брат, Д.Б., ходил туда очень часто, пока не запродался в Голливуд. Он и меня несколько раз брал с собой. Сам Эрни –громадный негр, играет на рояле. Он ужасный сноб и не станет с тобой разговаривать, если ты не знаменитость и не важная шишка, но играет он здорово. Он так здорово играет, что иногда даже противно. Я не умею как следует объяснить, но это так. Я очень люблю слушать, как он играет, но иногда мне хочется перевернуть его проклятый рояль вверх тормашками. Наверно, это оттого, что иногда по его игре слышно, что он задается и не станет с тобой разговаривать, если ты не какая-нибудь шишка.

12

Такси было старое и воняло так, будто кто-то стравил тут свой ужин. Вечно мне попадаются такие тошнотворные такси, когда я езжу ночью. А тут еще вокруг было так тихо, так пусто, что становилось еще тоскливее. На улице ни души, хоть была суббота. Иногда пройдет какая-нибудь пара обнявшись или хулиганистая компания с девицами, гогочут, как гиены, хоть, наверно, ничего смешного нет. Нью-Йорк вообще страшный, когда ночью пусто и кто-то гогочет. На сто миль слышно. И так становится тоскливо и одиноко. Ужасно хотелось вернуться домой, потрепаться с сестренкой. Но потом я разговорился с водителем. Звали его Горвиц. Он был гораздо лучше того первого шофера, с которым я ехал. Я и подумал, может быть, хоть он знает про уток.

–Слушайте, Горвиц, – говорю, – вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке? Там, у Южного выхода?

–Что-что?

–Там пруд. Маленькое такое озерцо, где утки плавают. Да вы, наверно, знаете.

–Ну, знаю, и что?

–Видели, там утки плавают? Весной и летом. Вы случайно не знаете, куда они деваются зимой?

–Кто девается?

–Да утки! Может, вы случайно знаете? Может, кто-нибудь подъезжает на грузовике и увозит их или они сами улетают куда-нибудь на юг?

Тут Горвиц обернулся и посмотрел на меня. Он, как видно, был ужасно раздражительный, хотя, в общем, и ничего.

–Почем я знаю, черт возьми! – говорит. – За каким чертом мне знать всякие глупости?

–Да вы не обижайтесь, – говорю. Видно было, что он ужасно обиделся.

–А кто обижается? Никто не обижается.

Я решил с ним больше не заговаривать, раз его это так раздражает. Но он сам начал. Опять обернулся ко мне и говорит:

–Во всяком случае, рыбы никуда не деваются. Рыбы там и остаются. Сидят себе в пруду, и все.

–Так это большая разница, – говорю, – то рыбы, а я спрашиваю про уток.

–Где тут разница, где? Никакой разницы нет, – говорит Горвиц. И по голосу слышно, что он сердится. – Господи ты боже мой, да рыбам зимой еще хуже, чем уткам. Вы думайте головой, господи боже!

Я помолчал, помолчал, потом говорю:

–Ну ладно. А рыбы что делают, когда весь пруд промерзнет насквозь и по нему даже на коньках катаются?

Тут он как обернется да как заорет на меня:

–То есть как это – что рыбы делают? Сидят себе там, и все!

–Не могут же они не чувствовать, что кругом лед. Они же это чувствуют.

–А кто сказал, что не чувствуют? Никто не говорил, что они не чувствуют! – крикнул Горвиц. Он так нервничал, я даже боялся, как бы он не налетел на столб. – Да они живут в самом льду, понятно? Они от природы такие, черт возьми! Вмерзают в лед на всю зиму, понятно?

–Да? А что же они едят? Если они вмерзают, они же не могут плавать, искать себе еду!

–Да как же вы не понимаете, господи! Их организм сам питается, понятно? Там во льду водоросли, всякая дрянь. У них поры открыты, они через поры всасывают пищу. Их природа такая, господи боже мой! Вам понятно или нет?

–Угу. – Я с ним не стал спорить. Боялся, что он разобьет к черту машину. Раздражительный такой, с ним и спорить неинтересно. – Может быть, заедем куда-нибудь, выпьем? – спрашиваю.

Но он даже не ответил. Наверно, думал про рыб. Я опять спросил, не выпить ли нам. В общем, он был ничего. Забавный такой старик.

–Некогда мне пить, братец мой! – говорит. – Кстати, сколько вам лет? Чего вы до сих пор спать не ложитесь?

–Не хочется.

Когда я вышел около Эрни и расплатился, старик Горвиц опять заговорил про рыб.

–Слушайте, – говорит, – если бы вы были рыбой, неужели мать-природа о вас не позаботилась бы? Что? Уж не воображаете ли вы, что все рыбы дохнут, когда начинается зима?

–Нет, не дохнут, но…

–Ага! Значит, не дохнут! – крикнул Горвиц и умчался как сумасшедший. В жизни не видел таких раздражительных типов. Что ему ни скажешь, на все обижается.

Даже в такой поздний час у Эрни было полным-полно. Больше всего пижонов из школ и колледжей. Все школы рано кончают перед рождеством, только мне не везет. В гардеробной номерков не хватало, так было тесно. Но стояла тишина –сам Эрни играл на рояле. Как в церкви, ей-богу, стоило ему сесть за рояль – сплошное благоговение, все на него молятся. А по-моему, ни на кого молиться не стоит. Рядом со мной какие-то пары ждали столиков, и все толкались, становились на цыпочки, лишь бы взглянуть на этого Эрни. У него над роялем висело огромное зеркало, и сам он был освещен прожектором, чтоб все видели его лицо, когда он играл. Рук видно не было – только его физиономия. Здорово заверчено. Не знаю, какую вещь он играл, когда я вошел, но он изгадил всю музыку. Пускал эти дурацкие показные трели на высоких нотах, вообще кривлялся так, что у меня живот заболел. Но вы бы слышали, что вытворяла толпа, когда он кончил. Вас бы, наверно, стошнило. С ума посходили. Совершенно как те идиоты в кино, которые гогочут, как гиены, в самых несмешных местах. Клянусь богом, если б я играл на рояле или на сцене и нравился этим болванам, я бы считал это личным оскорблением. На черта мне их аплодисменты? Они всегда не тому хлопают, чему надо. Если бы я был пианистом, я бы заперся в кладовке и там играл. А когда Эрни кончил и все стали хлопать как одержимые, он повернулся на табурете и поклонился этаким деланным, смиренным поклоном. Притворился, что он, мол, не только замечательный пианист, но еще и скромный до чертиков. Все это была сплошная липа – он такой сноб, каких свет не видал. Но мне все-таки было его немножко жаль. По-моему, он сам уже не разбирается, хорошо он играет или нет. Но он тут ни при чем. Виноваты эти болваны, которые ему хлопают, – они кого угодно испортят, им только дай волю. А у меня от всего этого опять настроение стало ужасное, такое гнусное, что я чуть не взял пальто и не вернулся к себе в гостиницу, но было слишком рано, и мне очень не хотелось остаться одному.

Наконец мне дали этот паршивый стол, у самой стенки, за каким-то столбом –ничего оттуда видно не было. Столик был крохотный, угловой, за него можно было сесть, только если за соседним столом все встанут и пропустят тебя – да разве эти гады встанут? Я заказал виски с содовой, это мой любимый напиток после дайкири со льдом. У Эрни всем подавали, хоть шестилетним, там было почти темно, а кроме того, никому дела не было, сколько тебе лет. Даже на каких-нибудь наркоманов и то внимания не обращали.

Вокруг были одни подонки. Честное слово, не вру. У другого маленького столика, слева, чуть ли не на мне сидел ужасно некрасивый тип с ужасно некрасивой девицей. Наверно, мои ровесники –может быть, чуть постарше. Смешно было на них смотреть. Они старались пить свою порцию как можно медленнее. Я слушал, о чем они говорят, – все равно делать было нечего. Он рассказывал ей о каком-то футбольном матче, который он видел в этот день. Подробно, каждую минуту игры, честное слово. Такого скучного разговора я никогда не слыхал. И видно было, что его девицу ничуть не интересовал этот матч, но она была ужасно некрасивая, даже хуже его, так что ей ничего не оставалось, как слушать. Некрасивым девушкам очень плохо приходится. Мне их иногда до того жалко, что я даже смотреть на них не могу, особенно когда они сидят с каким-нибудь шизиком, который рассказывает им про свой идиотский футбол. А справа от меня разговор был еще хуже. Справа сидел такой йельский франт в сером фланелевом костюме и в очень стильной жилетке. Все эти хлюпики из аристократических землячеств похожи друг на дружку. Отец хочет отдать меня в Йель или в Принстон, но, клянусь, меня в эти аристократические колледжи никакими силами не заманишь, лучше умереть, честное слово. Так вот, с этим аристократишкой была изумительно красивая девушка. Просто красавица. Но вы бы послушали, о чем они разговаривали. Во-первых, оба слегка подвыпили. Он ее тискал под столом, а сам в это время рассказывал про какого-то типа из их общежития, который съел целую склянку аспирина и чуть не покончил с собой. Девушка все время говорила: «Ах, какой ужас… Не надо, милый… Ну, прошу тебя… Только не здесь». Вы только представьте себе – тискать девушку и при этом рассказывать ей про какого-то типа, который собирался покончить с собой! Смех, да и только.

Я уже весь зад себе отсидел, скука была страшная. И делать было нечего, только пить и курить. Правда, я велел официанту спросить самого Эрни, не выпьет ли он со мной. Я ему велел сказать, что я брат Д.Б. Но тот, по-моему, даже не передал ничего. Разве эти скоты когда-нибудь передадут?

И вдруг меня окликнула одна особа:

–Холден Колфилд! – звали ее Лилиан Симмонс. Мой брат, Д.Б., за ней когда-то приударял. Грудь у нее была необъятная.

–Привет, – говорю. Я, конечно, пытался встать, но это было ужасно трудно в такой тесноте. С ней пришел морской офицер, он стоял, как будто ему в зад всадили кочергу.

–Как я рада тебя видеть! – говорит Лилиан Симмонс. Врет, конечно. – А как поживает твой старший брат? – Это-то ей и надо было знать.

–Хорошо. Он в Голливуде.

–В Голливуде! Какая прелесть! Что же он там делает?

–Не знаю. Пишет, – говорю. Мне не хотелось распространяться. Видно было, что она считает огромной удачей, что он в Голливуде. Все так считают, особенно те, кто никогда не читал его рассказов. А меня это бесит.

–Как увлекательно! – говорит Лилиан и знакомит меня со своим моряком. Звали его капитан Блоп или что-то в этом роде. Он из тех, кто думает, что его будут считать бабой, если он не сломает вам все сорок пальцев, когда жмет руку. Фу, до чего я это ненавижу! – Ты тут один, малыш? – спрашивает Лилиан. Она загораживала весь проход, и видно было, что ей нравится никого не пропускать. Официант стоял и ждал, когда же она отойдет, а она и не замечала его. Удивительно глупо. Сразу было видно, что официанту она ужасно не нравилась; наверно, и моряку она не нравилась, хоть он и привел ее сюда. И мне она не нравилась. Никому она не нравилась. Даже стало немножко жаль ее.

–Разве у тебя нет девушки, малыш? – спрашивает.

Я уже встал, а она даже не потрудилась сказать, чтоб я сел. Такие могут часами продержать тебя на ногах. –Правда, он хорошенький? – спросила она моряка. – Холден, ты с каждым днем хорошеешь!

Тут моряк сказал ей, чтобы она проходила. Он сказал, что она загородила весь проход.

–Пойдем сядем с нами, Холден, – говорит она. – Возьми свой стакан.

–Да я уже собираюсь уходить, – говорю я. – У меня свидание.

Видно было, что она ко мне подлизывается, чтобы я потом рассказал про нее Д.Б.

–Ах ты чертенок! Ну, молодец! Когда увидишь своего старшего брата, скажи, что я его ненавижу!

И она ушла. Мы с моряком сказали, что очень рады были познакомиться. Мне всегда смешно. Вечно я говорю «очень приятно с вами познакомиться», когда мне ничуть не приятно. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить всякое.

Мне ничего не оставалось делать, как только уйти –я ей сказал, что у меня свидание. Даже нельзя было остаться послушать, как Эрни играет что-то более или менее пристойное. Но не сидеть же мне с этой Лилиан Симмонс и с ее моряком – скука смертная! Я и ушел. Но я ужасно злился, когда брал пальто. Вечно люди тебе все портят.

13

Я пошел пешком до самого отеля. Сорок один квартал не шутка! И не потому я пошел пешком, что мне хотелось погулять, а просто потому, что ужасно не хотелось опять садиться в такси. Иногда надоедает ездить в такси, даже подыматься на лифте и то надоедает. Вдруг хочется идти пешком, хоть и далеко или высоко. Когда я был маленький, я часто подымался пешком до самой нашей квартиры. На двенадцатый этаж.

Непохоже было, что недавно шел снег. На тротуарах его совсем не было. Но холод стоял жуткий, и я вытащил свою охотничью шапку из кармана и надел ее –мне было безразлично, какой у меня вид. Я даже наушники опустил. Эх, знал бы я, кто стащил мои перчатки в Пэнси! У меня здорово мерзли руки. Впрочем, даже если б я знал, я бы все равно ничего не сделал. Я по природе трус. Стараюсь не показывать, но я трус. Например, если бы я узнал в Пэнси, кто украл мои перчатки, я бы, наверно, пошел к этому жулику и сказал: «Ну-ка, отдай мои перчатки!» А жулик, который их стащил, наверно, сказал бы самым невинным голосом: «Какие перчатки?» Тогда я, наверно, открыл бы его шкаф и нашел там где-нибудь свои перчатки. Они, наверно, были бы спрятаны в его поганых галошах. Я бы их вынул и показал этому типу и сказал: «Может быть, это т в о и перчатки?» А этот жулик, наверно, притворился бы этаким невинным младенцем и сказал: «В жизни не видел этих перчаток. Если они твои, бери их, пожалуйста, на черта они мне?»

А я, наверно, стоял бы перед ним минут пять. И перчатки держал бы в руках, а сам чувствовал бы –надо ему дать по морде, разбить ему морду, и все. А храбрости у меня не хватило бы. Я бы стоял и делал злое лицо. Может быть, я сказал бы ему что-нибудь ужасно обидное – это вместо того, чтобы разбить ему морду. Но, возможно, что, если б я ему сказал что-нибудь обидное, он бы встал, подошел ко мне и сказал: «Слушай, Колфилд, ты, кажется, назвал меня жуликом?» И вместо того чтобы сказать: «Да, назвал, грязная ты скотина, мерзавец!», я бы, наверно, сказал: «Я знаю только, что эти чертовы перчатки оказались в твоих галошах!» И тут он сразу понял бы, что я его бить не стану, и, наверно, сказал бы: «Слушай, давай начистоту: ты меня обзываешь вором, да?» И я ему, наверно, ответил бы: «Никто никого вором не обзывал. Знаю только, что мои перчатки оказались в твоих поганых галошах». И так до бесконечности.

В конце концов я, наверно, вышел бы из его комнаты и даже не дал бы ему по морде. А потом я, наверно, пошел бы в уборную, выкурил бы тайком сигарету и делал бы перед зеркалом свирепое лицо. В общем, я про это думал всю дорогу, пока шел в гостиницу. Неприятно быть трусом. Возможно, что я не совсем трус. Сам не знаю. Может быть, я отчасти трус, а отчасти мне наплевать, пропали мои перчатки или нет. Это мой большой недостаток –мне плевать, когда у меня что-нибудь пропадает. Мама просто из себя выходила, когда я был маленький. Другие могут целыми днями искать, если у них что-то пропало. А у меня никогда не было такой вещи, которую я бы пожалел, если б она пропала. Может быть, я поэтому и трусоват. Впрочем, это не оправдание. Совершенно не оправдание. Вообще нельзя быть трусом. Если ты должен кому-то дать в морду и тебе этого хочется, надо бить. Но я не могу. Мне легче было бы выкинуть человека из окошка или отрубить ему голову топором, чем ударить по лицу. Ненавижу кулачную расправу. Лучше уж пусть меня бьют – хотя мне это вовсе не по вкусу, сами понимаете, – но я ужасно боюсь бить человека по лицу, лица его боюсь. Не могу смотреть ему в лицо, вот беда. Если б хоть нам обоим завязать глаза, было бы не так противно. Странная трусость, если подумать, но все же это трусость. Я себя не обманываю.

И чем больше я думал о перчатках и о трусости, тем сильнее у меня портилось настроение, и я решил по дороге зайти куда-нибудь выпить. У Эрни я выпил всего три рюмки, да и то третью не допил. Одно могу сказать –пить я умею. Могу хоть всю ночь пить, и ничего не будет заметно, особенно если я в настроении. В Хуттонской школе мы с одним приятелем, с Раймондом Голдфарбом, купили пинту виски и выпили ее в капелле в субботу вечером, там нас никто не видел. Он был пьян в стельку, а по мне ничего не было заметно, я только держался очень независимо и беспечно. Меня стошнило, когда я ложился спать, но это я нарочно – мог бы и удержаться.

Словом, по дороге в гостиницу я совсем собрался зайти в какой-то захудалый бар, но оттуда вывалились двое совершенно пьяных и стали спрашивать, где метро. Одни из них, настоящий испанец с виду, все время дышал мне в лицо вонючим перегаром, пока я объяснял, как им пройти. Я даже не зашел в этот гнусный бар, просто вернулся к себе в гостиницу.

В холле –ни души, только застоялый запах пятидесяти миллионов сигарных окурков. Вонища. Спать мне не хотелось, но чувствовал я себя прескверно. Настроение убийственное. Жить не хотелось.

И тут я влип в ужасную историю.

Не успел я войти в лифт, как лифтер сказал:

–Желаете развлечься, молодой человек? А может, вам уже поздно?

–Вы о чем? – спрашиваю. Я совершенно не понял, куда он клонит.

–Желаете девочку на ночь?

–Я? – говорю. Это было ужасно глупо, но неловко, когда тебя прямо так и спрашивают.

–Сколько вам лет, шеф? – говорит он вдруг.

–А что? – говорю. – Мне двадцать два.

–Ага. Ну так как же? Желаете? Пять долларов на время, пятнадцать за ночь. – Он взглянул на часы. – До двенадцати дня. Пять на время, пятнадцать за ночь.

–Ладно, – говорю. Принципиально я против таких вещей, но меня до того тоска заела, что я даже не подумал. В том-то и беда: когда тебе скверно, ты даже думать не можешь.

–Что ладно? На время или на всю ночь?

–На время, – говорю.

–Идет. А в каком вы номере?

Я посмотрел на красный номерок на ключе.

–Двенадцать двадцать два, – говорю. Я уже жалел, что затеял все это, но отказываться было поздно.

–Ладно, пришлю ее минут через пятнадцать. – Он открыл двери лифта, и я вышел.

–Эй, погодите, а она хорошенькая? – спрашиваю. – Мне старухи не надо.

–Какая там старуха! Не беспокойтесь, шеф!

–А кому платить?

–Ей, – говорит. – Пустите-ка, шеф! – и он захлопнул дверь прямо перед моим носом.

Я вошел в номер, примочил волосы, но я ношу ежик, его трудно как следует пригладить. Потом я попробовал, пахнет ли у меня изо рта от всех этих сигарет и от виски с содовой, которое я выпил у Эрни. Это просто: надо приставить ладонь ко рту и дыхнуть вверх, к носу. Пахло не очень, но я все-таки почистил зубы. Потом надел чистую рубашку. Я не знал, надо ли переодеваться ради проститутки, но так хоть дело нашлось, а то я что-то нервничал. Правда, я уже был немного возбужден и все такое, но все же нервничал. Если уж хотите знать правду, так я девственник. Честное слово. Сколько раз представлялся случай потерять невинность, но так ничего и не вышло. Вечно что-нибудь мешает. Например, если ты у девчонки дома, так родители приходят не вовремя, вернее, боишься, что они придут. А если сидишь с девушкой в чьей-нибудь машине на заднем сиденье, так впереди обязательно сидит другая девчонка, все время оборачивается и смотрит, что у нас делается. Словом, всегда что-нибудь мешает. Все-таки раза два это чуть-чуть не случилось. Особенно один раз, это я помню. Но что-то помешало, только я уже забыл, что именно. Главное, что как только дойдет до этого, так девчонка, если она не проститутка или вроде того, обязательно скажет: «Не надо, перестань». И вся беда в том, что я ее слушаюсь. Другие не слушаются. А я не могу. Я слушаюсь. Никогда не знаешь –ей и вправду не хочется, или она просто боится, или она нарочно говорит «перестань», чтобы ты был виноват, если что случится, а не она. Словом, я сразу слушаюсь. Главное, мне их всегда жалко. Понимаете, девчонки такие дуры, просто беда. Их как начнешь целовать и все такое, они сразу теряют голову. Вы поглядите на девчонку, когда она как следует распалится, – дура дурой! Я и сам не знаю, – они говорят «не надо», а я их слушаюсь. Потом жалеешь, когда проводишь ее домой, но все равно я всегда слушаюсь.

А тут, пока я менял рубашку, я подумал, что наконец представился случай. Подумал, раз она проститутка, так, может быть, я у нее хоть чему-нибудь научусь –а вдруг мне когда-нибудь придется жениться? Меня это иногда беспокоит. В Хуттонской школе я как-то прочитал одну книжку про одного ужасно утонченного, изящного и распутного типа. Его звали мосье Бланшар, как сейчас помню. Книжка гадостная, но этот самый Бланшар ничего. У него был здоровенный замок на Ривьере, в Европе, и в свободное время он главным образом лупил палкой каких-то баб. Вообще он был храбрый и все такое, но женщин он избивал до потери сознания. В одном месте он говорит, что тело женщины – скрипка и что надо быть прекрасным музыкантом, чтобы заставить его звучать. В общем, дрянная книжица – это я сам знаю, – но эта скрипка никак не выходила у меня из головы. Вот почему мне хотелось немножко подучиться, на случай если я женюсь. Колфилд и его волшебная скрипка, черт возьми! В общем, пошлятина, а может быть, и не совсем. Мне бы хотелось быть опытным во всяких таких делах. А то, по правде говоря, когда я с девчонкой, я и не знаю как следует, что с ней делать. Например, та девчонка, про которую я рассказывал, что мы с ней чуть не спутались, так я битый час возился, пока стащил с нее этот проклятый лифчик. А когда наконец стащил, она мне готова была плюнуть в глаза.

Ну так вот, я ходил по комнате и ждал, пока эта проститутка придет. Я все думал –хоть бы она была хорошенькая. Впрочем, мне было все равно. Лишь бы это поскорее кончилось. Наконец кто-то постучал, и я пошел открывать, но чемодан стоял на самой дороге, и я об него споткнулся и грохнулся так, что чуть не сломал ногу. Всегда я выбираю самое подходящее время, чтоб споткнуться обо что-нибудь.

Я открыл двери –и за ними стояла эта проститутка. Она была в спортивном пальто, без шляпы. Волосы у нее были светлые, но, видно, она их подкрашивала. И вовсе не старая.

–Здравствуйте! – говорю самым светским тоном, будь я неладен.

–Это про вас говорил Морис? – спрашивает. Вид у нее был не очень-то приветливый.

–Это лифтер?

–Лифтер, – говорит.

–Да, про меня. Заходите, пожалуйста! – говорю. Я разговаривал все непринужденней, ей-богу! Чем дальше, тем непринужденней.

Она вошла, сразу сняла пальто и швырнула его на кровать. На ней было зеленое платье. Потом она села как-то бочком в кресло у письменного стола и стала качать ногой вверх и вниз. Положила ногу на ногу и качает одной ногой то вверх, то вниз. Нервничает, даже не похоже на проститутку. Наверно, оттого, что она была совсем девчонка, ей-богу. Чуть ли не моложе меня. Я сел в большое кресло рядом с ней и предложил ей сигарету.

–Не курю, – говорит. Голос у нее был тонкий-претонкий. И говорит еле слышно. Даже не сказала спасибо, когда я предложил сигарету. Видно, ее этому не учили.

–Разрешите представиться, – говорю. – Меня зовут Джим Стил.

–Часы у вас есть? – говорит. Плевать ей было, как меня зовут. – Слушайте, – говорит, – а сколько вам лет?

–Мне? Двадцать два.

–Будет врать-то!

Странно, что она так сказала. Как настоящая школьница. Можно было подумать, что проститутка скажет: «Да как же, черта лысого!» или «Брось заливать!», а не по-детски: «Будет врать-то!»

–А вам сколько? – спрашиваю.

–Сколько надо! – говорит. Даже острит, подумайте! – Часы у вас есть? – спрашивает, потом вдруг встает и снимает платье через голову.

Мне стало ужасно не по себе, когда она сняла платье. Так неожиданно, честное слово. Знаю, если при тебе вдруг снимают платье через голову, так ты должен что-то испытывать, какое-то возбуждение или вроде того, но я ничего не испытывал. Наоборот –я только смутился и ничего не почувствовал.

–Часы у вас есть?

–Нет, нет, – говорю. Ох, как мне было неловко! – Как вас зовут? – спрашиваю. На ней была только одна розовая рубашонка. Ужасно неловко. Честное слово, неловко.

–Санни, – говорит. – Ну, давай-ка.

–А разве вам не хочется сначала поговорить? – спросил я. Ребячество, конечно, но мне было ужасно неловко. – Разве вы так спешите?

Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего.

–О чем тут разговаривать? – спрашивает.

–Не знаю. Просто так. Я думал – может быть, вам хочется поболтать.

Она опять села в кресло у стола. Но ей это не понравилось. Она опять стала качать ногой –очень нервная девчонка!

–Может быть, хотите сигарету? – спрашиваю. Забыл, что она не курит.

–Я не курю. Слушайте, если у вас есть о чем говорить – говорите. Мне некогда.

Но я совершенно не знал, о чем с ней говорить. Хотел было спросить, как она стала проституткой, но побоялся. Все равно она бы мне не сказала.

–Вы сами не из Нью-Йорка! – говорю. Больше я ничего не мог придумать.

–Нет, из Голливуда, – говорит. Потом встала и подошла к кровати, где лежало ее платье. – Плечики у вас есть? А то как бы платье не измялось. Оно только что из чистки.

–Конечно, есть! – говорю.

Я ужасно обрадовался, что нашлось какое-то дело. Взял ее платье, повесил его в шкаф на плечики. Странное дело, но мне стало как-то грустно, когда я его вешал. Я себе представил, как она заходит в магазин и покупает платье и никто не подозревает, что она проститутка. Приказчик, наверно, подумал, что она просто обыкновенная девчонка, и все. Ужасно мне стало грустно, сам не знаю почему.

Потом я опять сел, старался завести разговор. Но разве с такой собеседницей поговоришь?

–Вы каждый вечер работаете? – спрашиваю и сразу понял, что вопрос ужасный.

–Ага, – говорит. Она уже ходила по комнате. Взяла меню со стола, прочла его.

–А днем вы что делаете?

Она пожала плечами. А плечи худые-худые.

–Сплю. Хожу в кино. – Она положила меню и посмотрела на меня. – Слушай, чего ж это мы? У меня времени нет…

–Знаете что? – говорю. – Я себя неважно чувствую. День был трудный. Честное благородное слово. Я вам заплачу и все такое, но вы на меня не обидитесь, если ничего не будет? Не обидитесь?

Плохо было то, что мне ни черта не хотелось. По правде говоря, на меня тоска напала, а не какое-нибудь возбуждение. Она нагоняла на меня жуткую тоску. А тут еще ее зеленое платье висит в шкафу. Да и вообще, как можно этим заниматься с человеком, который полдня сидит в каком-нибудь идиотском кино? Не мог я, и все, честное слово.

Она подошла ко мне и так странно посмотрела, будто не верила.

–А в чем дело? – спрашивает.

–Да ни в чем, – говорю. Тут я и сам стал нервничать. – Но я совсем недавно перенес операцию.

–Ну? А что тебе резали?

–Это самое – ну, клавикорду!

–Да? А где же это такое?

–Клавикорда? – говорю. – Знаете, она фактически внутри, в спинномозговом канале. Очень, знаете, глубоко, в самом спинном мозгу.

–Да? – говорит. – Это скверно! – И вдруг плюхнулась ко мне на колени. – А ты хорошенький!

Я ужасно нервничал. Врал вовсю.

–Я еще не совсем поправился, – говорю.

–Ты похож на одного артиста в кино. Знаешь? Ну, как его? Да ты знаешь. Как же его зовут?

–Не знаю, – говорю. А она никак не слезает с моих коленей.

–Да нет, знаешь! Он был в картине с Мельвином Дугласом. Ну, тот, который играл его младшего брата. Тот, что упал с лодки. Вспомнил?

–Нет, не вспомнил. Я вообще почти не хожу в кино.

Тут она вдруг стала баловаться. Грубо так, понимаете.

–Перестаньте, пожалуйста, – говорю. – Я не в настроении. Я же вам сказал – я только что перенес операцию.

Она с моих колен не встала, но вдруг покосилась на меня –а глаза злющие-презлющие.

–Слушай-ка, – говорит, – я уже спала, а этот чертов Морис меня разбудил. Что я, по-твоему…

–Да я же сказал, что заплачу вам. Честное слово, заплачу. У меня денег уйма. Но я только что перенес серьезную операцию, я еще не поправился.

–Так какого же черта ты сказал этому дураку Морису, что тебе нужно девочку? Раз тебе оперировали эту твою, как ее там… Зачем ты сказал?

–Я думал, что буду чувствовать себя много лучше. Но я слишком преждевременно понадеялся. Серьезно говорю. Не обижайтесь. Вы на минутку встаньте, я только возьму бумажник. Встаньте на минуту!

Злая она была как черт, но все-таки встала с моих колен, так что я смог подойти к шкафу и достать бумажник. Я вынул пять долларов и подал ей.

–Большое спасибо, – говорю. – Огромное спасибо.

–Тут пять. А цена – десять.

Видно было, она что-то задумала. Недаром я боялся, я был уверен, что так и будет.

–Морис сказал: пять, – говорю. – Он сказал: до утра пятнадцать, а на время пять.

–Нет, десять.

–Он сказал – пять. Простите, честное слово, но больше я не могу.

Она пожала плечами, как раньше, очень презрительно.

–Будьте так добры, дайте мое платье. Если только вам не трудно, конечно!

Жуткая девчонка. Говорит таким тонким голоском, и все равно с ней жутковато. Если бы она была толстая старая проститутка, вся намазанная, было бы не так жутко.

Достал я ее платье. Она его надела, потом взяла пальтишко с кровати.

–Ну, пока, дурачок! – говорит.

–Пока! – говорю. Я не стал ее благодарить. И хорошо, что не стал.

14

Она ушла, а я сел в кресло и выкурил две сигареты подряд. За окном уже светало. Господи, до чего мне было плохо. Такая тощища, вы себе представить не можете. И я стал разговаривать вслух с Алли. Я с ним часто разговариваю, когда меня тоска берет. Я ему говорю –пускай возьмет свой велосипед и ждет меня около дома Бобби Феллона. Бобби Феллон жил рядом с нами в Мейне – еще тогда, давно. И случилось вот что: мы с Бобби решили ехать к озеру Седебиго на велосипедах. Собирались взять с собой завтрак, и все, что надо, и наши мелкокалиберные ружья – мы были совсем мальчишки, думали, из мелкокалиберных можно настрелять дичи. В общем, Алли услыхал, как мы договорились, и стал проситься с нами, а я его не взял, сказал, что он еще маленький. А теперь, когда меня берет тоска, я ему говорю: «Ладно, бери велосипед и жди меня около Бобби Феллона. Только не копайся!»

И не то чтоб я его никогда не брал с собой. Нет, брал. Но в тот день не взял. А он ничуть не обиделся –он никогда не обижался, – но я всегда про это вспоминаю, особенно когда становится очень уж тоскливо.

Наконец я все-таки разделся и лег. Лег и подумал: помолиться, что ли? Но ничего не вышло. Не могу я молиться, даже когда мне хочется. Во-первых, я отчасти атеист. Христос мне, в общем, нравится, но вся остальная муть в Библии –не особенно. Взять, например, апостолов. Меня они, по правде говоря, раздражают до чертиков. Конечно, когда Христос умер, они вели себя ничего, но пока он жил, ему от них было пользы, как от дыры в башке. Все время они его подводили. Мне в Библии меньше всего нравятся эти апостолы. Сказать по правде, после Христа я больше всего люблю в Библии этого чудачка, который жил в пещере и все время царапал себя камнями и так далее. Я его, дурака несчастного, люблю в десять раз больше, чем всех этих апостолов. Когда я был в Хуттонской школе, я вечно спорил с одним типом на нашем этаже, с Артуром Чайлдсом. Этот Чайлдс был квакер и вечно читал Библию. Он был славный малый, я его любил, но мы с ним расходились во мнениях насчет Библии, особенно насчет апостолов. Он меня уверял, что если я не люблю апостолов, значит, я и Христа не люблю. Он говорит, раз Христос сам выбрал себе апостолов, значит, надо их любить. А я говорил – знаю, да, он их выбрал, но выбрал-то он их случайно. Я говорил, что Христу некогда было в них разбираться и я вовсе Христа не виню. Разве он виноват, что ему было некогда? Помню, я спросил Чайлдса, как он думает: Иуда, который предал Христа, попал в ад, когда покончил с собой, или нет? Чайдлс говорит – конечно, попал. И тут я с ним никак не мог согласиться. Я говорю: готов поставить тысячу долларов, что никогда Христос не отправил бы этого несчастного Иуду в ад! Я бы и сейчас прозакладывал тысячу долларов, если бы они у меня были. Апостолы, те, наверно, отправили бы Иуду в ад – и не задумались бы! А вот Христос – нет, головой ручаюсь. Этот Чайлдс говорил, что я так думаю потому, что не хожу в церковь. Что правда, то правда. Не хожу. Во-первых, мои родители – разной веры, и все дети у нас в семье – атеисты. Честно говоря, я священников просто терпеть не могу. В школах, где я учился, все священники как только начнут проповедовать, у них голоса становятся масленые, противные. Ох, ненавижу! Не понимаю, какого черта они не могут разговаривать нормальными голосами. До того кривляются, слушать невозможно.

Словом, когда я лег, мне никакие молитвы на ум не шли. Только начну припоминать молитву –тут же слышу голос этой Санни, как она меня обзывает дурачком. В конце концов я сел на постель и выкурил еще сигарету. Наверно, я выкурил не меньше двух пачек после отъезда из Пэнси.

И вдруг, только я лег и закурил, кто-то постучался. Я надеялся, что стучат не ко мне, но я отлично понимал, что это именно ко мне. Не знаю почему, но я сразу понял, кто это. Я очень чуткий.

–Кто там? – спрашиваю. Я здорово перепугался. В этих делах я трусоват.

Опять постучали. Только еще громче.

Наконец я встал в одной пижаме и открыл двери. Даже не пришлось включать свет –уже было утро. В дверях стояли эта Санни и Морис, прыщеватый лифтер.

–Что такое? – спрашиваю. – Что вам надо? – Голос у меня ужасно дрожал.

–Пустяк, – говорит Морис. – Всего пять долларов. – Он говорил за обоих, а девчонка только стояла разинув рот, и все.

–Я ей уже заплатил, – говорю. – Я ей дал пять долларов. Спросите у нее. – Ох, как у меня дрожал голос.

–Надо десять, шеф. Я вам говорил. Десять на время, пятнадцать до утра. Я же вам говорил.

–Неправда, не говорили. Вы сказали – пять на время. Да, вы сказали, что за ночь пятнадцать, но я ясно слышал…

–Выкладывайте, шеф!

–За что? – спрашиваю. Господи, у меня так колотилось сердце, что вот-вот выскочит. Хоть бы я был одет. Невыносимо стоять в одной пижаме, когда случается такое.

–Ну, давайте, шеф, давайте! – говорит Морис. Да как толкнет меня своей грязной лапой – я чуть не грохнулся на пол, сильный он был, сукин сын. И не успел я оглянуться, они оба уже стояли в комнате. Вид у них был такой, будто это их комната. Санни уселась на подоконник. Морис сел в кресло и расстегнул ворот – на нем была лифтерская форма. Господи, как я нервничал! – Ладно, шеф, выкладывайте денежки! Мне еще на работу идти.

–Вам уже сказано, я больше ни цента не должен. Я же ей дал пятерку.

–Бросьте зубы заговаривать. Деньги на стол!

–За что я буду платить еще пять долларов? – говорю. А голос у меня все дрожит. – Вы хотите меня обжулить.

Морис расстегнул свою куртку до конца. Под ней был фальшивый воротничок без всякой рубашки. Живот у него был толстый, волосатый, здоровенный.

–Никто никого не собирается обжуливать, – говорит он. – Деньги давайте, шеф!

–Не дам!

Только я это сказал, как он встал и пошел на меня. Вид у него был такой, будто он ужасно, ужасно устал или ему все надоело. Господи, как я испугался. Помню, я скрестил руки на груди. Господи, как я испугался. Хуже всего то, что я был в одной пижаме.

–Давайте деньги, шеф! – Он подошел ко мне вплотную. Он все время повторял одно и то же: – Деньги давайте, шеф! – Форменный кретин.

–Не дам.

–Шеф, вы меня доведете, придется с вами грубо обойтись. Не хочу вас обижать, а придется, как видно. Вы нам должны пять монет.

–Ничего я вам не должен, – говорю. – А если вы меня только тронете, я заору на всю гостиницу. Всех перебужу. Полицию, всех! – Сам говорю, а голос у меня дрожит, как студень.

–Давай ори! Ори во всю глотку! Давай! Хочешь, чтоб твои родители узнали, что ты ночь провел с девкой! А еще из хорошей семьи. – Он был хитрый, этот сукин кот. Здорово хитрый.

–Оставьте меня в покое! Если бы вы сказали десять, тогда другое дело. А вы определенно сказали…

–Отдадите вы нам деньги или нет? – Он прижал меня к самой двери. Прямо навалился на меня своим пакостным волосатым животом.

–Оставьте меня! Убирайтесь из моей комнаты! – сказал я. А сам скрестил руки, не двигаюсь. Господи, какое я ничтожество!

И вдруг Санни заговорила, а до того она молчала:

–Слушай, Морис, взять мне его бумажник? Он вон там, на этом самом…

–Вот-вот, бери!

–Уже взяла! – говорит Санни. И показывает мне пять долларов. – Видал? Больше не беру, только долг. Я не какая-нибудь воровка. Мы не воры!

И вдруг я заплакал. И не хочу, а плачу.

–Да, не воры! Украли пять долларов, а сами…

–Молчать! – говорит Морис и толкает меня.

–Брось его, слышишь? – говорит Санни. – Пошли, ну! Долг мы с него получили. Пойдем. Слышишь, пошли отсюда!

–Иду! – говорит Морис. А сам стоит.

–Слышишь, Морис, я тебе говорю. Оставь его!

–А кто его трогает? – отвечает он невинным голосом. И вдруг как щелкнет меня по пижаме. Я не скажу, куда он меня щелкнул, но больно было ужасно. Я ему крикнул, что он грязный, подлый кретин.

–Что ты сказал? – говорит. И руку приставил к уху, как глухой. – Что ты сказал? Кто я такой?

А я стою и реву. Меня зло берет, взбесил он меня.

–Да, ты подлый, грязный кретин, – говорю. – Грязный кретин и жулик, а года через два будешь нищим, милостыню будешь просить на улице. Размажешь сопли по всей рубахе, весь вонючий, грязный…

Тут он мне как даст! Я даже не успел увернуться или отскочить –вдруг почувствовал жуткий удар в живот.

Я не потерял сознание, потому что помню –я посмотрел на них с пола и увидел, как они уходят и закрывают за собой двери. Я долго не вставал с пола, как тогда, при Стрэдлейтере… Но тут мне казалось, что я сейчас умру, честное слово. Казалось, что я тону, так у меня дыхание перехватило – никак не вздохнуть. А когда я встал и пошел в ванную, я даже разогнуться не мог, обеими руками держался за живот.

Но я, наверно, ненормальный. Да, клянусь богом, я сумасшедший. По дороге в ванную я вдруг стал воображать, что у меня пуля в кишках. Я вообразил, что этот Морис всадил в меня пулю. А теперь я иду в ванную за добрым глотком старого виски, чтобы успокоить нервы и начать действовать. Я представил себе, как я выхожу из ванной уже одетый, с револьвером в кармане, а сам слегка шатаюсь. И я иду по лестнице –в лифт я, конечно, не сяду. Иду, держусь за перила, а кровь капает у меня из уголка рта. Я бы спустился несколькими этажами ниже, держась за живот, а кровь так и лилась бы на пол, и потом вызвал бы лифт. И как только этот Морис открыл бы дверцы, он увидел бы меня с револьвером в руке и завизжал бы, закричал диким, перепуганным голосом, чтобы я его не трогал. Но я бы ему показал. Шесть путь прямо в его жирный, волосатый живот! Потом я бросил бы свой револьвер в шахту лифта – конечно, сначала стер бы отпечатки пальцев. А потом дополз бы до своего номера и позвонил Джейн, чтоб она пришла и перевязала мне рану. И я представил себе, как она держит сигарету у моих губ и я затягиваюсь, а сам истекаю кровью.

Проклятое кино! Вот что оно делает с человеком. Сами понимаете…

Я просидел в ванной чуть ли не час, принял ванну, немного отошел. А потом лег в постель. Я долго не засыпал –я совсем не устал, но в конце концов уснул. Больше всего мне хотелось покончить с собой. Выскочить в окно. Я, наверно, и выскочил бы, если б я знал, что кто-нибудь сразу подоспеет и прикроет меня, как только я упаду. Не хотелось, чтобы какие-то любопытные идиоты смотрели, как я лежу весь в крови.

15

Спал я недолго; кажется, было часов десять, когда я проснулся. Выкурил сигарету и сразу почувствовал, как я проголодался. Последний раз я съел две котлеты, когда мы с Броссаром и Экли ездили в кино в Эгерстаун. Это было давно –казалось, что прошло лет пятьдесят. Телефон стоял рядом, и я хотел было позвонить вниз и заказать завтрак в номер, но потом побоялся, что завтрак пришлют с этим самым лифтером Морисом, а если вы думаете, что я мечтал его видеть, вы глубоко ошибаетесь. Я полежал в постели, выкурил сигарету. Хотел звякнуть Джейн – узнать, дома ли она, но настроения не было.

Тогда я позвонил Салли Хейс. Она училась в пансионе Мэри Э. Удроф, и я знал, что она уже дома: я от нее получил письмо с неделю назад. Не то чтобы я был от нее без ума, но мы были знакомы сто лет, я по глупости думал, что она довольно умная. А думал я так потому, что она ужасно много знала про театры, про пьесы, вообще про всякую литературу. Когда человек начинен такими знаниями, так не скоро сообразишь, глуп он или нет. Я в этой Салли Хейс годами не мог разобраться. Наверно, я бы раньше сообразил, что она дура, если бы мы столько не целовались. Плохо то, что если я целуюсь с девчонкой, я всегда думаю, что она умная. Никакого отношения одно к другому не имеет, а я все равно думаю.

Словом, я ей позвонил. Сначала подошла горничная, потом ее отец. Наконец позвали ее.

–Это ты, Салли? – спрашиваю.

–Да, кто со мной говорит? – спрашивает она. Ужасная притворщица. Я же сказал ее отцу, кто спрашивает.

–Это Холден Колфилд. Как живешь?

–Ах, Холден! Спасибо, хорошо! А ты как?

–Чудно. Слушай, как же ты поживаешь? Как школа?

–Ничего, – говорит, – ну, сам знаешь.

–Чудно. Вот что я хотел спросить – ты свободна? Правда, сегодня воскресенье, но, наверно, есть утренние спектакли. Благотворительные, что ли? Хочешь пойти?

–Очень хочу, очень! Это будет изумительно!

–«Изумительно»! Ненавижу такие слова! Что за пошлятина! Я чуть было не сказал ей, что мы никуда не пойдем. Потом мы немного потрепались по телефону. Верней, она трепалась, а я молчал. Она никому не даст слова сказать. Сначала она мне рассказала о каком-то пижоне из Гарварда –наверно, первокурсник, но этого она, конечно, не выдала, – будто он в лепешку расшибается. Звонит ей день и ночь. Да, день и ночь – я чуть не расхохотался. Потом еще про какого-то типа, кадета из Вест-Пойнта, – и этот готов из-за нее зарезаться. Страшное дело. Я ее попросил ждать меня под часами у отеля «Билтмор» ровно в два. Потому что утренние спектакли начинаются в половине третьего. А она вечно опаздывала. И попрощался. У меня от нее скулы сворачивало, но она была удивительно красивая.

Договорился с Салли, потом встал, оделся, сложил чемодан. Выйдя из номера, я заглянул в окошко, что там эти психи делают, но у них портьеры были опущены. Утром они скромнее скромного. Потом я спустился в лифте и рассчитался с портье. Мориса, к счастью, нигде не было. Да я и не старался его увидеть, подлеца.

У гостиницы взял такси, но понятия не имел, куда мне ехать. Ехать, оказывается, некуда. Было воскресенье, а домой я не мог возвратиться до среды, в крайнем случае до вторника. А идти в другую гостиницу, чтоб мне там вышибли мозги, –нет, спасибо. Я велел шоферу везти меня на Центральный вокзал. Это рядом с отелем «Билтмор», где я должен был встретиться с Салли, и я решил сделать так. Сдам вещи на хранение в такой шкафчик, от которого дают ключ, потом позавтракаю. Очень хотелось есть. В такси я вынул бумажник, пересчитал деньги. Не помню, сколько там оказалось, во всяком случае, не такое уж богатство. За какие-нибудь две недели я истратил чертову уйму. По натуре я ужасный мот. А что не проматываю, то теряю. Иногда я даже забываю взять сдачу в каком-нибудь ресторане или ночном кабаке. Мои родители просто приходят в бешенство. Я их понимаю. Хотя отец довольно богатый, не знаю, сколько он зарабатывает, – он со мной об этом не говорит, – но, наверно, много. Он юрисконсульт корпорации. А они загребают деньги лопатой. И еще я знаю, что он богатый, потому что он вечно вкладывает деньги в какие-то постановки на Бродвее. Впрочем, эти постановки всегда проваливаются, и мама из себя выходит, когда отец с ними связывается. Вообще мама очень сдала после смерти Алли. Из-за этого я особенно боялся сказать ей, что меня опять выгнали.

Я отдал чемоданы на хранение и зашел в вокзальный буфет позавтракать. Съел я порядочно: апельсиновый сок, яичницу с ветчиной, тосты, кофе. Обычно я по утрам только выпиваю сок. Я очень мало ем, совсем мало. Оттого я такой худой. Мне прописали есть много мучного и всякой такой дряни, чтобы нагнать вес, но я и не подумал. Когда я где-нибудь бываю, я обычно беру бутерброд со швейцарским сыром и стакан солодового молока. Сущие пустяки, но зато в молоке много витаминов. Х. В. Колфилд. Холден Витамин Колфилд.

Я ел яичницу, когда вошли две монахини с чемоданишками и сумками –наверно, переезжали в другой монастырь и ждали поезда. Они сели за стойку рядом со мной. Они не знали, куда девать чемоданы, и я им помог. Чемоданы у них были плохонькие, дешевые – не кожаные, а так, из чего попало. Знаю, это роли не играет, но я терпеть не могу дешевых чемоданов. Стыдно сказать, но мне бывает неприятно смотреть на человека, если у него дешевые чемоданы. Вспоминается один случай. Когда я учился в Элктон-хилле, я жил в комнате с таким Диком Слеглом, и у него были дрянные чемоданы. Он их держал у себя под кроватью, а не на полке, чтобы никто не видел их рядом с моими чемоданами. Меня это расстраивало до черта, я готов был выкинуть свои чемоданы или даже обменяться с ним насовсем. Мои-то были куплены у Марка Кросса, настоящая кожа, со всеми онерами, и стоили они черт знает сколько. Но вот что странно. Вышла такая история. Как-то я взял и засунул свои чемоданы под кровать, чтобы у старика Слегла не было этого дурацкого комплекса неполноценности. Знаете, что он сделал? Только я засунул свои чемоданы под кровать, он их вытащил и опять поставил на полку. Я только потом понял, зачем он это сделал: он хотел, чтобы все думали, что это е г о чемоданы! Да-да, именно так. Странный был тип. Он всегда издевался над моими чемоданами. Говорил, что они слишком новые, слишком мещанские. Это было его любимое слово. Где-то он его подхватил. Все, что у меня было, все он называл «мещанским». Даже моя самопишущая ручка была мещанская. Он ее вечно брал у меня – и все равно считал мещанской. Мы жили вместе всего месяца два. А потом мы оба стали просить, чтобы нас расселили. И самое смешное, что, когда мы разошлись, мне его ужасно не хватало, потому что у него было настоящее чувство юмора и мы иногда здорово веселились. По-моему, он тоже без меня скучал. Сначала он только поддразнивал меня – называл мои вещи мещанскими, а я и внимания не обращал, даже смешно было. Но потом я видел, что он уже не шутит. Все дело в том, что трудно жить в одной комнате с человеком, если твои чемоданы настолько лучше, чем его, если у тебя по-настоящему отличные чемоданы, а у него нет. Вы, наверно, скажете, что если человек умен и у него есть чувство юмора, так ему наплевать. Оттого я и поселился с этой тупой скотиной, со Стрэдлейтером. По крайней мере у него чемоданы были не хуже моих.

Словом, эти две монахини сели около меня, и мы как-то разговорились. У той, что сидела рядом со мной, была соломенная корзинка –монашки и девицы из Армии Спасения обычно собирают в такие деньги под рождество. Всегда они стоят на углах, особенно на Пятой авеню, у больших универмагов. Та, что сидела рядом, вдруг уронила свою корзинку на пол, а я нагнулся и поднял. Я спросил, собирает ли она на благотворительные цели. А она говорит – нет. Просто корзинка не поместилась в чемодан, пришлось нести в руках. Она так приветливо улыбалась, смотрит и улыбается. Нос у нее был длинный, и очки в какой-то металлической оправе, не очень-то красивые, но лицо ужасно доброе.

–Я только хотел сказать, если вы собираете деньги, я бы мог пожертвовать немножко, – говорю. – Вы возьмите, а когда будете собирать, и эти вложите.

–О, как мило с вашей стороны! – говорит она, а другая, ее спутница, тоже посмотрела на меня. Та, другая, пила кофе и читала книжку, похожую на Библию, только очень тоненькую. Но все равно книжка была вроде Библии. На завтрак они взяли только кофе с тостами. Я расстроился. Ненавижу есть яичницу с ветчиной и еще всякое, когда рядом пьют только кофе с тостами.

Они приняли у меня десять долларов. И все время спрашивали, могу ли я себе это позволить. Я им сказал, что денег у меня достаточно, но они как-то не верили. Но деньги все же взяли. И так они обе меня благодарили, что мне стало неловко. Я перевел разговор на общие темы и спросил их, куда они едут. Они сказали, что они учительницы, только что приехали из Чикаго и собираются преподавать в каком-то интернате, не то на Сто шестьдесят восьмой, не то на Сто восемьдесят шестой улице, –словом, где-то у черта на рогах. Та, что сидела рядом, в металлических очках, оказывается, преподавала английский, а ее спутница – историю и американскую конституцию. Меня так и разбирало любопытство – интересно бы узнать, как эта преподавательница английского могла быть монахиней и все-таки читать некоторые книжки по английской литературе. Не то чтобы непристойные книжки, я не про них, но те, в которых про любовь, про влюбленных, вообще про все такое. Возьмите, например, Юстасию Вэй из «Возвращения на родину» Томаса Харди. Никаких особенных страстей в ней не было, и все-таки интересно, что думает монахиня, когда читает про эту самую Юстасию. Но я, конечно, ничего не спросил. Я только сказал, что по английской литературе учился лучше всего.

–Да что вы? Как приятно! – обрадовалась преподавательница английского, та, что в очках. – Что же вы читали в этом году? Мне очень интересно узнать!

Приветливая такая, добрая.

–Да как сказать, все больше англосаксов – знаете, Беовульф и Грендель, и «Рэндал, мой сын», ну, все, что попадается. Но нам задавали и домашнее чтение, за это ставили особые отметки. Я прочел «Возвращение на родину» Томаса Харди, «Ромео и Джульетту», «Юлия Це…»

–Ах, «Ромео и Джульетта»! Какая прелесть! Вам, наверно, очень понравилось? – Она говорила совсем не как монахиня.

–Да, очень. Очень понравилось. Кое-что мне не совсем понравилось, но, в общем, очень трогательно.

–Что же вам не понравилось? Вы не припомните, что именно?

По правде говоря, мне было как-то неловко обсуждать с ней «Ромео и Джульетту». Ведь в этой пьесе есть много мест про любовь и всякое такое, а она как-никак была монахиня, но она сама спросила, и пришлось рассказать.

–Знаете, я не в восторге от самих Ромео и Джульетты, – говорю, – то есть они мне нравятся, и все же… сам не знаю! Иногда просто досада берет. Я хочу сказать, что мне было гораздо жальче, когда убили Меркуцио, чем когда умерли Ромео с Джульеттой. Понимаете, Ромео мне как-то перестал нравиться, после того как беднягу Меркуцио проткнул шпагой этот самый кузен Джульетты – забыл, как его звали…

–Тибальд.

–Правильно. Тибальд. Всегда я забываю, как его зовут. А виноват Ромео. Мне он больше всех нравился, этот Меркуцио. Сам не знаю почему. Конечно, все эти Монтекки и Капулетти тоже ничего – особенно Джульетта, – но Меркуцио… нет, мне трудно объяснить. Он был такой умный, веселый. Понимаете, меня злость берет, когда таких убивают, – таких веселых, умных, да еще по чужой вине. С Ромео и Джульеттой дело другое – они сами виноваты.

–В какой вы школе учитесь, дружок? – спрашивает она. Наверно, ей надоело разговаривать про Ромео и Джульетту.

Я говорю –в Пэнси. Оказывается, она про нее слышала. Сказала, что это отличная школа. Я промолчал. Тут ее спутница, та, что преподавала историю и конституцию, говорит, что им пора идти. Я взял их чеки, но они не позволили мне заплатить. Та, что в очках, отняла у меня чеки.

–Вы и так были слишком щедры, – говорит. – Вы удивительно милый мальчик. – Она сама была славная. Немножко напоминала мать Эрнеста Морроу, с которой я ехал в поезде. Особенно когда улыбалась. – Так приятно было с вами поговорить, – добавила она.

Я сказал, что мне тоже было очень приятно с ними поговорить. И я не притворялся. Но мне было бы еще приятнее с ними разговаривать, если б я не боялся, что они каждую минуту могут спросить, католик я или нет. Католики всегда стараются выяснить, католик ты или нет. Со мной это часто бывает, главным образом потому, что у меня фамилия ирландская, а коренные ирландцы почти все католики. Кстати, мой отец раньше тоже был католиком. А потом, когда женился на моей маме, бросил это дело. Но католики вообще всегда стараются выяснить, католик ты или нет, даже если не знают, какая у тебя фамилия. У меня был знакомый католик, Луи Горман, я с ним учился в Хуттонской школе. Я с ним там с первым и познакомился. Мы сидели рядом в очереди на прием к врачу –был первый день занятий, мы ждали медицинского осмотра и разговорились про теннис. Он очень увлекался теннисом, и я тоже. Он рассказал, что каждое лето бывает на состязаниях в Форест-хилле, а я сказал, что тоже там бываю, а потом мы стали обсуждать, кто лучший игрок. Для своих лет он здорово разбирался в теннисе. Всерьез интересовался. И потом ни с того ни с сего посреди разговора спрашивает: «Ты не знаешь, где тут католическая церковь?» Суть была в том, что по его тону я сразу понял: он хочет выяснить, католик я или нет. Узнать хочет. И дело не в том, что он предпочитал католиков, нет, ему просто хотелось узнать. Он с удовольствием разговаривал про теннис, но сразу было видно – ему этот разговор доставил бы еще больше удовольствия, если б он узнал, что я католик. Меня такие штуки просто бесят. Я не хочу сказать, что из-за этого весь наш разговор пошел к чертям, нет, разговор продолжался, но как-то не так. Вот почему я был рад, что монахини меня не спросили, католик я или нет. Может быть, это и не помешало бы нашему разговору, но все-таки было бы иначе. Я ничуть не обвиняю католиков. Может быть, если бы я был католик, я бы тоже стал спрашивать. В общем, это чем-то похоже на ту историю с чемоданами, про которую я рассказывал. Я только хочу сказать, что настоящему, хорошему разговору такие вещи только мешают. Вот и все.

А когда эти две монахини встали и собрались уходить, я вдруг сделал ужасно неловкую и глупую штуку. Я курил сигарету, и когда я встал, чтобы с ними проститься, я нечаянно пустил дым прямо им в глаза. Совершенно нечаянно. Я извинялся как сумасшедший, и они очень мило и вежливо приняли мои извинения, но все равно вышло страшно неловко.

Когда они ушли, я стал жалеть, что дал им только десять долларов на благотворительность. Но иначе нельзя было: я условился пойти с Салли Хейс на утренний спектакль, и нельзя было тратить все деньги. Но все равно я огорчился. Чертовы деньги. Вечно из-за них расстраиваешься.

16

Было около двенадцати, когда я кончил завтракать, а встретиться с Салли мы должны были только в два, и я решил подольше погулять. Эти две монахини не выходили у меня из головы. Я все вспоминал эту старую соломенную корзинку, с которой они ходили собирать лепту, когда у них не было уроков. Я старался представить себе, как моя мама или еще кто-нибудь из знакомых –тетя или эта вертихвостка, мать Салли Хейс, – стоят около универмага и собирают деньги для бедных в старые, потрепанные соломенные корзинки. Даже представить себе трудно. Мою маму еще можно себе представить, но тех двоих – никак. Хотя моя тетушка очень много занимается благотворительностью – тут и Красный Крест, и всякое другое, – но она всегда отлично одета, и когда занимается благотворительностью, она тоже отлично одета, губы накрашены и все такое. Я не мог себе представить, что она могла бы заниматься благотворительными делами, если б пришлось надеть монашескую рясу и не красить губы. А мамаша Салли! Да она бы согласилась ходить с кружкой, собирать деньги, только если б каждый, кто дает деньги, рассыпался бы перед ней мелким бесом. А если бы люди просто опускали деньги в кружку и уходили, ничего не говоря, не обратив на нее внимания, так она через час уже отвалила бы. Ей бы сразу надоело. Отдала бы кружку и пошла завтракать в какой-нибудь шикарный ресторан. Оттого мне и понравились те монахини. Сразу можно было сказать, что они-то никогда не завтракают в шикарных ресторанах. И мне стало грустно, когда я подумал, что они никогда не пойдут завтракать в шикарный ресторан. Я понимал, что это не так уж важно, но все равно мне стало грустно.

Пошел я на Бродвей просто ради удовольствия, я там сто лет не был. Кроме того, я искал магазин граммофонных пластинок, открытый в воскресенье. Мне хотелось купить одну пластинку для Фиби –«Крошка Шерли Бинз». Эту пластинку было очень трудно достать. Там все про маленькую девочку, которая не хотела выходить из дому, потому что у нее выпали зубки и она стеснялась. Я слышал эту песню в Пэнси у одного мальчишки, он жил этажом выше. Хотел купить у него эту пластинку: знал, что моя Фиби просто с ума сойдет от нее, но он не продал. Пластинка была потрясающая, хоть и старая, ее напела лет двадцать назад певица-негритянка Эстелла Флетчер. Она ее пела по-южному, даже по-уличному, оттого выходило ничуть не слезливо и не слюняво. Если б пела обыкновенная белая певица, она, наверно, распустила бы слюни, а эта Эстелла Флетчер свое дело знала. Такой чудесной пластинки я в жизни не слышал. Я решил, что куплю пластинку в каком-нибудь магазине, где торгуют и по воскресеньям, а потом понесу в парк. В воскресенье Фиби часто ходит в парк – она там катается на коньках. Я знал, где она обычно бывает.

Стало теплее, чем вчера, но солнце не показывалось, и гулять было не очень приятно. Мне только одно понравилось. Впереди меня шло целое семейство, очевидно из церкви, –отец, мать и мальчишка лет шести. Видно было, что они довольно бедные. На отце была светло-серая шляпа, такие всегда носят бедняки, когда хотят принарядиться. Он шел с женой и разговаривал с ней, а на мальчишку они совсем не обращали внимания. А мальчишка был мировой. Он шел не по тротуару, а вдоль него у самой обочины, по мостовой. Он старался идти точно по прямой, мальчишки любят так ходить. Идет и все время напевает себе под нос. Я нарочно подошел поближе, чтобы слышать, что он поет. Он пел такую песенку: «Если ты ловил кого-то вечером во ржи…» И голосишко у него был забавный. Пел он для собственного удовольствия, это сразу было видно. Машины летят мимо, тормозят так, что тормоза скрежещут, родители никакого внимания не обращают, а он идет себе по самому краю и распевает: «Вечером во ржи…» Мне стало веселее. Даже плохое настроение прошло.

На Бродвее все толкались, шумели. Было воскресенье, всего двенадцать часов, но все равно стоял шум. Все шли в кино –в «Парамаунт» или в «Астор», в «Стрэнд», в «Капитолий» – в общем, в какую-нибудь толкучку. Все расфуфырились – воскресенье! И это было еще противнее. А противнее всего было то, что им н е т е р п е л о с ь попасть в кино. Тошно было на них смотреть. Я еще понимаю, если ходят в кино, когда делать нечего, но мне просто противно думать, что люди бегут, торопятся пойти в кино, что им действительно х о ч е т с я туда попасть. Особенно когда миллион народу стоит в длиннющей очереди на целый квартал за билетами – какое нужно терпение! Я дождаться не мог, так хотелось поскорее уйти с этого проклятого Бродвея.

Но мне повезло: в первом же магазине пластинок я нашел «Крошку Шерли Бинз». Содрали с меня пять монет, пластинка была редкая, но я не жалел. Я так вдруг обрадовался, что не мог дождаться: поскорее бы дойти до парка и отдать эту пластинку моей Фиби.

Я вышел из магазина –тут подвернулось кафе, и я зашел. Подумал – не звякнуть ли Джейн, может, она уже вернулась домой на каникулы. Я зашел в автомат и позвонил. К несчастью, подошла ее мать, пришлось повесить трубку. Не хотелось пускаться в длинные разговоры. Вообще не люблю разговаривать с матерями девчонок. Все-таки надо было спросить, дома ли Джейн. Я бы от этого не умер. Но что-то не хотелось. Для таких разговоров требуется настроение.

Однако надо было доставать эти проклятые билеты в театр, пришлось купить газету и посмотреть, где что идет. По случаю воскресенья шли только три пьесы. Я пошел и купил два билета в партер на «Я знаю любовь». Спектакль был благотворительный, в пользу чего-то. Мне не особенно хотелось смотреть эту пьесу, но я знал, что Салли жить не может без кривлянья –обязательно распустит слюни, когда я ей скажу, что в пьесе участвуют Ланты. Салли обожает пьесы, которые считаются изысканными и серьезными, с участием Лантов и все такое. А я не люблю. Вообще, по правде сказать, я не особенно люблю ходить в театр. Конечно, кино еще хуже, но и в театре ничего хорошего нет. Во-первых, я ненавижу актеров. Они ведут себя на сцене совершенно непохоже на людей. Только воображают, что похоже. Хорошие актеры иногда довольно похожи, но не настолько, чтобы было интересно смотреть. А кроме того, если актер хороший, сразу видно, что он сам это сознает, а это сразу все портит. Возьмите, например, сэра Лоуренса Оливье. Я видел его в «Гамлете». Д.Б. водил меня и Фиби в прошлом году. Сначала он нас повел завтракать, а потом – в кино. Он уже видел «Гамлета» и так про это рассказывал за завтраком, что мне ужасно захотелось посмотреть. Но мне, в общем, не очень понравилось. Не понимаю, что особенного в этом Лоуренсе Оливье. Голос у него потрясающий, и красив он до чертиков, и на него приятно смотреть, когда он ходит или дерется на дуэли, но он был совсем не такой, каким, по словам Д.Б., должен быть Гамлет. Он был больше похож на какого-нибудь генерала, чем на такого чудака, немножко чокнутого. Больше всего мне в этом фильме понравилось то место, когда брат Офелии – тот, что под конец дерется с Гамлетом на дуэли, – уезжает, а отец ему дает всякие советы. Пока отец дает эти советы, Офелия все время балуется: то вытащит у него кинжал из ножен, то его подразнит, а он старается делать вид, что слушает дурацкие советы. Это было здорово. Мне очень понравилось. Но таких мест было мало. А моей сестренке Фиби понравилось только, когда Гамлет гладит собаку по голове. Она сказала – как смешно, какая хорошая собака, и собака вправду была хорошая. Все-таки придется мне прочитать «Гамлета». Плохо то, что я обязательно должен прочесть пьесу сам, про себя. Когда играет актер, я почти не могу слушать. Все боюсь, что сейчас он начнет кривляться и вообще делать все напоказ.